М. Л. Гаспаров

Филология как нравственность

Статьи, интервью, заметки

О прошлом и будущем
Об интеллигенции
О культуре
О школе
О жизни



ББК 83
Г22

Составление и редакция А. М. Зотовой

Гаспаров М. Л.

Г22 Филология как нравственность. — М.: Фортуна ЭЛ, 2012. — 288 с.

М. Л. Гаспаров — крупнейший отечественный филолог, литературовед, переводчик, автор популярных книг «Занимательная Греция» и «Записи и выписки». Но мало кому известна другая сторона его творчества. В предлагаемой книге собраны опубликованные в последние годы его жизни статьи по вопросам истории и культуры, о значении прошлого для будущего, о роли интеллигенции, о состоянии нашего образования, о школе, о воспитании подрастающего поколения, о политике, а также многочисленные интервью и ответы на анкеты для различных газет и журналов и отдельные высказывания на эти темы.

Книга представляет интерес для широкого круга читателей.

ISBN 978-5-9582-0030-6

ББК 83

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Цель предлагаемой читателю книги – открыть малоизвестную сторону творчества крупнейшего отечественного филолога, литературоведа, переводчика Михаила Леоновича Гаспарова. Академик, лауреат Государственной и многих литературных премий, античник и стиховед, Михаил Леонович казался большинству сугубо «кабинетным ученым», далеким от современной, не слишком радовавшей его советской, да и послесоветской, действительности. Как он сам шутил, он нашел для себя щель, куда можно спрятаться от жизни. Но это не так (очевидно, от жизни не спрячешься).

Еще в самом начале 1960-х годов, работая над переводом «Жизни двенадцати цезарей» римского писателя и историка Светония (впоследствии неоднократно переиздававшимся), он записывает для себя своеобразные стихи-размышления. Несколько из этих стихотворений даны в приложении к этой книге, и любой поймет, что они не только о римской, но и о нашей собственной истории.

Эти стихи так и остались в записных книжках Михаила Леоновича. Открыто высказываться в печати по вопросам истории и культуры, о значении прошлого для будущего, о роли интеллигенции, о состоянии на-

шего образования, о школе, о воспитании подрастающего поколения и даже о политических событиях он стал только в последние годы жизни, после перестройки. Именно тогда был опубликован ряд статей, касающихся общественной и культурной жизни страны, многочисленные интервью и анкеты в различных газетах и журналах. При этом он не уклонялся от ответов на самые острые политические вопросы.

Нужно заметить, что вопросы эти часто повторялись, и отвечал он на них, хотя и разными словами, но, по сути, одинаково, так как был человеком твердых взглядов. Когда это было рассеяно по разным печатным изданиям и в разные годы, эти повторы не бросались в глаза. Но собранные в одной книге, они выглядели бы навязчиво, поэтому в ряде случаев нам пришлось прибегнуть к сокращениям (отмеченным в тексте многоточиями).

В Приложении приводится некролог на смерть С. С. Аверинцева и несколько стихотворений из цикла «К Светонию».

ПРОШЛОЕ ДЛЯ БУДУЩЕГО
(для журнала «Наше наследие»)

> Прошедшее нужно знать не потому, что оно прошло, а потому, что, уходя, не умело убрать своих последствий.
>
> *В. О. Ключевский*

Словосочетание «Наше наследие» означает «наследие, полученное нами от предков» и — «наследие, оставляемое нами потомкам». Первое значение — в сознании у всех, второе вспоминается реже. На то есть свои причины.

Спрос на старину — это прежде всего отшатывание от настоящего. Опыт семидесяти советских лет привел к кризису, получилось очевидным образом не то, что было задумано. Первая естественная реакция на этот результат — осадить назад, вернуться к истокам, все начать заново. Как начать заново — никто не знает, только спорят. Но что такое осадить назад — очень хорошо представляют все: техника таких попятных движений давно отработана русской историей.

На протяжении нескольких поколений нам изображали наше отечество по классической формуле графа Бенкендорфа (только без ссылок на источник): прошлое России исключительно, настоящее — великолепно, будущее — неописуемо. В том, что касается настоящего и будущего, доверие к этой

формуле сильно поколебалось. Зато в том, что касается прошлого, оно едва ли не укрепилось — как бы в порядке компенсации. Нашему естественному сыновнему уважению к прошлому велено обратиться в умиленное обожание. А это вредно. Далеко не все в прошлом было исключительно, не все заслуживает поклонения, не все необходимо для будущего, о котором как-никак приходится заботиться.

У Пушкина есть черновой набросок:

Два чувства дивно близки нам —
В них обретает сердце пищу —
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.

[На них основано от века,
По воле Бога самого,
Самостоянье человека —
Залог величия его.]

Животворящая святыня.
Земля была б без них мертва.
Как... пустыня
И как алтарь без божества...

За последние десятилетия этот отрывок стал одной из самых расхожих цитат из Пушкина — поминается он едва ли не чаще, чем, скажем, «взойдет она, звезда пленительного счастья». Но охотнее всего цитируется среднее четверостишие, вы-

черкнутое самим Пушкиным, — вероятно цитирующим льстят слова «самостоянье» и «величие». Не знаю, хорошо ли знал сам Александр Сергеевич, где погребен «отеческий гроб» его родного деда Льва Александровича Пушкина, и если знал, то часто ли навещал могилу.

Культ «нашего наследия» становится составной частью современной массовой культуры. Исторические романы пользуются небывалым спросом. В. Пикуль въехал в беллетристику на белом коне. Десять с лишним лет назад была элитарная Тыняновская конференция в Резекне, местный книжный магазин предложил ей все свое самое лучшее, в том числе последний роман Пикуля, и он был расхватан мгновенно. («Чтобы дарить вместо взяток», — смущенно объясняли купившие.) Сам Пикуль честно сказал в каком-то интервью: люди читают меня потому, что плохо знают русскую историю. Он был прав: лучше пусть читатель узнает о князе Потемкине из Пикуля, чем из школьного учебника, где (боюсь) о нем вообще не упомянуто. Массовая культура — это все-таки лучше, чем массовое бескультурье.

В Москве перекрасили старый Арбат под внешность 1900 года. Реставрации не получилось: в новом московском контексте вместо старой улицы появилась очень новая улица со своей внешностью и своим бытом — весьма специфическим и весьма

органичным, как знает каждый москвич. В Москве этот Арбат останется выразительным образчиком советской культуры 1980-х годов. Потом заново выстроили храм Христа Спасителя — здание, которое лучшие художественные критики считали позором московской архитектуры. Получилась такая же картонная имитация, как новый старый Арбат, только вдесятеро дороже. Теперь призывают заново построить Сухареву башню. Я бы лучше предложил поставить на Сухаревской площади памятник Сухаревой башне — насколько мне известно, памятников памятникам в мировой истории еще не было, так что это, помимо дани уважения к старине, может оказаться еще и любопытной зодческой задачей.

Не стоит забывать, что та старина, которой мы сегодня кланяемся, сама по себе сложилась достаточно случайно и в свое время была новаторством или эклектикой, раздражавшей, вероятно, многих. Попробуем представить, что было бы, если бы в XVIII веке Баженов реализовал свой проект перестройки Кремля — со сносом москворецкой стены, с парадным, во всю ширь, спуском к Москве-реке и т. д. В центре Москвы появилось бы нечто совсем непохожее на то, что мы видим сегодня, но мы умилялись бы этому точно так же, как сейчас — существующим стенам и башням, ибо они освящены стариной. Не исключено, что когда-нибудь те наши по-

стройки, которым сейчас принято ужасаться, тоже станут высоко ценимыми памятниками прошлого.

Историки античности знают: когда Афины были сожжены персами, то афиняне не захотели реставрировать свои старые храмы, свезли их камни для укрепления крепостных стен, а на освободившемся месте стали строить Парфенон, который, вероятно, казался их старикам отвратительным модерном. Греческая эпиграмма, которой мы любуемся, для самих греков была литературным ширпотребом, а греческие кувшины и блюдца, осколки которых мы храним под небьющимися стеклами, — ширпотребом керамическим. Жанр романа, без которого мы не можем вообразить литературу, родился в античности как простонародное чтиво, и ни один уважающий себя античный критик даже не упоминает о нем. Массовая культура нимало не заслуживает пренебрежительного отношения. Как она преломляет стихийную общественную потребность «осадить назад» — это тема для исследований, которые многое откроют потомкам в нашей современности.

Но сейчас наша массовая культура — явление неуправляемое и непредсказуемое (хотя она вполне поддается управлению, и на Западе это хорошо знают). Как сквозь нее профильтруется культура прошлого, чтобы влиться в культуру будущего, — это вопрос без ответа. Подумаем лучше о том, как

должна относиться к «нашему наследию» обычная культура (именующая себя иногда «высокой»), заинтересованная не только в том, чтобы воспроизводить самое себя, но и в том, чтобы порождать новое — то, что нужно будет завтрашнему дню.

Какова будет эта культура завтрашнего дня, я знаю не больше всякого другого — могу лишь гадать. Самыми несомненными ее особенностями покамест кажутся две: она будет эклектична и плюралистична.

Эклектична она будет потому, что эклектична всякая культура: только издали эпоха Эсхила или Пушкина кажется цельной и единой. Если бы нас перенесло в их мир и мы бы увидели его изнутри, у нас бы запестрело в глазах: так трудно было бы отличить «самое главное» от пережитков прошлого и ростков нового. В наше время история движется все быстрее, и наследия прежних эпох напластовываются друг на друга самым причудливым образом. Купола XVII века, колонны XVIII века, доходные глыбы XIX века, сталинское барокко XX века смешиваются в панораме Москвы. Чтобы разобраться в этом и отделить перспективное от пригодного только для музеев (этих «кладбищ культуры», как вслед за Ламартином называл их Флоренский), нужно разорвать былые органические связи там, где они еще не разорвались сами собой, и рассортировать полученные элементы, глядя не на то,

«откуда они», а на то, «для чего они». Так Бахтин во всяком слове видел прежде всего «чужое слово», бывшее в употреблении, захватанное руками и устами прежних его носителей; учитывать эти прежние употребления, чтобы они не мешали новым, конечно, необходимо, но чем меньше мы будем отвлекаться на них, тем лучше.

«Эклектика» долго была и остается бранным словом. Ей противопоставляются цельность, органичность и другие хорошие понятия. Но достаточно непредубежденного взгляда, чтобы увидеть: цельность, органичность и пр. мы видим, лишь нарочно закрывая глаза, на какие-то стороны предмета. Последовательные большевики отвергали Толстого за то, что он был толстовец, и Чехова за то, что он не имел революционного мировоззрения, — разве мы не стали богаче, научившись смотреть на Толстого и Чехова не с баррикадной близости, а так, как смотрим на рабовладельца Эсхила и монархиста Тютчева? Борис Пастернак не мог принять эйзенштейновского «Грозного», чувствуя в его кадрах сталинский заказ, — разве нам не легче оттого, что мы можем отвлечься от этого ощущения? Песня может быть враждебной и вредной от того, о чем в ней поется; но если песня сложена так, что она запоминается с первого раза, то это хорошая песня (скажет всякий фольклорист). Уже здесь, внутри творчества одного автора, в границах одно-

го произведения мы отбираем то, что включаем в поле своего эстетического восприятия и что оставляем вне его. «Отбираем» — по-гречески это тот самый глагол, от которого образовано слово «эклектика».

Для нескольких поколений Фет и Некрасов, Пушкин и Некрасов были фигурами взаимоисключающими: кто любил одного, не мог любить другого. Теперь они мирно стоят рядом, под одним переплетом. Как происходит это стирание противоречий, этот переход от взгляда изнутри к взгляду издали? Мы не можем этого описать: это дело социологической поэтики, а она у нас так замордована эпохой социалистического реализма, что не скоро оправится. Но этот «хрестоматийный глянец» — благое дело, несмотря на всю иронию Маяковского, сказавшего эти слова. Культура — это наука человеческого взаимопонимания: общепризнанный культурный пантеон, канон классиков, антологии образцов, обрастающие комментариями и комментариями к комментариям (как в Китае, как в Греции), это почва для такого комментария.

Но этот общепризнанный и общеизученный канон классиков — лишь фундамент взаимопонимания, на котором возводится надстройка индивидуальных вкусов. На эклектике общей культуры зиждется плюрализм личных предпочтений. От культурного человека можно требовать, чтобы он знал

всю классику, но нельзя — чтобы он всю ее любил. Каждый выбирает то, что ближе его душевному складу. Это и называется «вкус»: в XVIII веке это было едва ли не центральное понятие эстетики, сейчас оно ютится где-то на ее окраине. Вкус индивидуален, потому что он складывается из напластований личного эстетического опыта, от первых младенческих впечатлений, а состав и последовательность таких напластований неповторимы.

Хочется верить, что культура будущего возродит важность понятия «вкус» и выработает средства для его развития применительно к душевному складу каждого человека. Многие, наверное, знали старых библиотекарш, которые после нескольких встреч с читателем уже умели в ответ на его расплывчатое «мне бы чего-нибудь поинтереснее...» предложить ему именно такую книгу, которая была бы ему интересна и в то же время продвигала бы его вкус, подталкивала бы интерес немножко дальше. Сколько читателей, столько и путей от книги к книге — от букварных лет до глубокой старости. Это как бы сплетение лестниц, ведущих по книжкам, как по ступенькам, выше и выше: они сбегаются к лестничным площадкам и разбегаются от них вновь, и в этом высотном лабиринте каждый нащупывает для себя ту последовательность пролетов, которая для него естественнее и легче. Хорошо, кому поможет в этих поисках старая биб-

лиотекарша или старая учительница, имеющая к этому талант от Бога. Но талант редок, поддержать или заменить его должна наука, называемая «психология чтения», а она у нас давно заглохла.

Говоря о высотном лабиринте выработки культурных вкусов, подчеркнем еще одно: путь по нему бесконечен, нет такой ступеньки, на которой можно было бы остановиться с гордым чувством, что она последняя и выше ничего нет. Это важно, потому что советская школа семьдесят лет исходила из противоположного: подносила учащимся только бесспорные истины. Они менялись, но всегда оставались истинами в последней инстанции — будь то в физике или истории, в математике или литературе. Школа изо всех сил вбивала в молодых людей представление, что культура — это не процесс, а готовый результат, сумма каких-то достижений, венец которых — марксизм. А когда человек с таким убеждением останавливается на любой ступеньке и гордо смотрит сверху вниз, то это уже становится общественным бедствием: ему ничего не докажешь, он сам всякому прикажет. Подчеркиваю, на любой ступеньке: застынет ли человек в своем развитии на Агате Кристи, или на Тургеневе, или на Джойсе — это все равно.

Такая школа была порождением своего общества. Старая гимназия готовила питомцев к университету, а затем к служебной карьере, новая готовила

(и готовит) их неизвестно для чего. Наше хозяйство никогда не знало, сколько каких ученых сил ему нужно сию минуту, а подавно — через десять лет. Какая может быть полнота раскрытия индивидуальных вкусов и склонностей выпускника, который будет брошен общественной необходимостью неведомо куда? В бенкендорфовские времена Нестор Кукольник со скромной гордостью говорил: «Прикажут — буду акушером». Было время, когда с таким акушерским энтузиазмом можно было чего-то достичь, даже в культуре; но оно давно прошло, а школа (и не только школа) этого не заметила.

Почему именно сейчас так остро стоит вопрос об освоении прошлого, о приобщении к культуре? Потому что наше общество приближается, по-видимому, к большому культурному перелому. Распространение образования (т. е. знакомства с прошлым, своим и чужим), развитие культуры — процесс неравномерный. В нем чередуются периоды, которые можно условно назвать «распространение вширь» и «распространение вглубь». «Распространение вширь» — это значит: культура захватывает новый слой общества, распространяется в нем быстро, но поверхностно, в упрощенных формах, в элементарных проявлениях — как общее знакомство, а не внутреннее усвоение, как заученная норма, а не внутреннее преобразование. «Распространение вглубь» — это значит: круг носителей куль-

туры остается тот же, заметно не расширяясь, но знакомство с культурой становится более глубоким, усвоение ее более творческим, формы ее проявления более сложными.

XVIII век был веком движения культуры вширь — среди невежественного дворянства. Начало XIX века было временем движения этой дворянской культуры вглубь — от поверхностного ознакомления с европейской цивилизацией к творческому ее преобразованию у Жуковского, Пушкина и Лермонтова. Середина и вторая половина XIX века — опять движение культуры вширь, среди невежественной буржуазии; и опять формы культуры упрощаются, популяризируются, приноравливаются к уровню потребителя. Начало XX века — новый общественный слой уже насыщен элементарной культурой, начинается насыщение более глубинное — русский модернизм, время Станиславского и Блока. Наконец, революция — и культура опять движется вширь, среди невежественного пролетариата и крестьянства. Сейчас мы на пороге новой полосы распространения культуры вглубь: на периферии еще не закончилось поверхностное освоение культуры, а в центре уже начались новые и не всем понятные попытки переработки усвоенного: они называются «авангард».

Взаимонепонимание такого центра и такой периферии (не в географическом, конечно, а в соци-

альном смысле) может быть очень острым, и в современных спорах это чувствуется. В таком взаимонепонимании массовая культура опирается на (еще плохо переваренное) «наше наследие» прошлого, а авангард, как ему и полагается, демонстративно от него отталкивается (на самом деле, конечно, тоже опирается на прошлое, только на иные его традиции). Поэтому нам и пришлось начинать разговор с вопроса «наследие прошлого и массовая культура», а конец такого разговора, понятным образом, теряется в гаданиях о тех путях, по которым пойдет развитие культуры ближайшего будущего.

Примечание педагогическое

(интервью для газеты «Первое сентября»)

— Школа должна воспитывать вкус: здесь происходит борьба за школьника между высокой культурой и массовой культурой. Вы предостерегаете против культа прошлого и заступаетесь за массовую культуру. Почему?

— Вероятно, я по складу характера не склонен к конфронтации. Что такое борьба между высокой и массовой культурой, я понимаю, но предпочитаю, чтобы она велась не силою. Когда прошлое борется с будущим, то всегда побеждает будущее, но при этом не отторгает прошлое (даже если очень

того хочет), а вбирает его в себя. Поэтому плодотворнее было бы подумать, как ценимому нами прошлому выгоднее проникнуть в будущее и прорасти в нем. А для этого один из путей — массовая культура, заведомо живая и распространенная. Если в борьбе за молодежь она — соперник школы, то соперника нужно знать. Кто лучше поймет своего соперника, тот и выиграет спор.

— «Массовая культура лучше, чем массовое бескультурье», — говорили вы. А что если массовая культура — это лишь амбиции бескультурья?

— Бескультурья не бывает, бывает только чужая культура (или субкультура). Что такое культура? Это пища, одежда, жилище, хозяйство, семья, воспитание, образ жизни, нормы поведения, общественные порядки, убеждения, знания, вкусы. Зачем существует культура? Чтобы человек на земле выжил как вид — то есть сам уцелел и другим помог уцелеть. Речь идет не о бескультурье, а о чужой культуре, которая нам непривычна и потому не нравится. Грекам не нравилась варварская культура, христианам мусульманская, нашим дедам негритянская; теперь мы научились ценить и ту, и другую, и третью. Пушкин свысока смотрел на лубочные картинки; теперь мы называем их «народная культура», и для нашего понимания прошлого она дает не меньше, чем та, к которой принадлежал Пушкин. Наши внуки будут ценить нынешние эст-

радные песенки наравне со стихами Бродского, как мы ценим наравне Пушкина и протопопа Аввакума — а ведь это тоже взаимоисключающие культурные явления.

— Высокое искусство, проходя через массовую культуру, упрощается — оттого что к искусству относятся как к развлечению — хорошо ли это?

— Не хорошо и не плохо. Воспитательного значения искусство от этого не теряет. Можно взять дамский роман или эстрадную песню, и окажется, что в них те же моральные основы, что и в высокой классике: нужно делать хорошо и не делать плохо. Даже если певец кричит, что хотел бы взорвать и растоптать весь мир, — право, и у Лермонтова такое бывало. А результат один и тот же: агрессивные чувства, пройдя сквозь стиль и ритм, гармонизуются и становятся общественно безвредными. Мы с благоговением говорим, что высокое искусство приносит людям катарсис, очищение. Но ведь для Аристотеля искусство, которое приносит катарсис, даже не было самым высоким. Насколько можно понять (не из его «Поэтики», а из его «Политики»), самым высоким искусством он считал поучающее — вероятно, гимны богам; ступенькой ниже ставил очищающее — трагедию и эпос; а еще ступенькой ниже ставил развлекающее, дающее отдых — комедию. И все три нужны для правильной организации чувств человека и гражданина.

Все мы читали и «Гулливера», и «Робинзона», и греческие мифы в детских пересказах раньше, чем прочесть в подлинном виде. Высокая книжная культура всегда опускается в массы, эпический герой становится персонажем лубочных картинок, и это ничуть его не позорит. Когда-то у меня был разговор с Аверинцевым: я говорил о необходимости и пользе вот этой культурной программы-минимум, упрощенной до массовых представлений, а ему это не нравилось. «Послушайте, — сказал он, — был такой фильм с Брижит Бардо «Бабетта идет на войну»: там героиню легкого поведения готовили быть великосветской шпионкой и учили ее: «Запомните: Корнель — это сила, Расин — это высокость, Франс — это тонкость...» Вам не кажется, что вы зовете именно к такому уровню?» — «Господи! — сказал я. — Да если бы у нас все усвоили, что Корнель — это сила, а Франс — это тонкость, разве это не было бы уже полпути к идеалу!» Он улыбнулся и не стал спорить.

В самом деле, он ведь сам не раз употреблял сравнение, которое я люблю: с чужой культурой мы знакомимся, как с чужим человеком. При первой встрече ищем, что у нас есть общего, чтобы знакомство стало возможным, а потом ищем, что у нас есть различного, чтобы знакомство стало интересным. Детские, народные и масскультурные адап-

тации именно и должны помогать этой первой встрече.

— *Помочь первой встрече с культурой, стало быть, нетрудно; а как помочь второй, как добиться продолжения знакомства?*

— Когда мои дети были в том возрасте, когда увлекаются детективами, я говорил: «Смотри, какие они все одинаковые: пять мотивов, двадцать пять комбинаций, да и те не все используются, — ты и сам сумеешь так сочинить». То есть переключал интерес с потребительского на производительский. Иногда помогало: появлялся интерес к чему-нибудь новому. Мой знакомый преподаватель рассказывал, что приохочивал школьников к Достоевскому, объявляя: «Преступление и наказание» — образцовый детективный сюжет; но посмотрите, насколько он становится еще интереснее от тех идей и переживаний, которые на него навешаны!» — и, говорит, это действовало.

К счастью, кроме потребности в привычном у человека есть и потребность в непривычном: она называется «любопытство», а вежливее — «интерес». Ребенку скучно читать про то, что он и так каждый день видит вокруг, и он ищет мир, где все гремит, сверкает и стреляет. А когда он привыкнет к этому искусственному миру, то ему оттуда может показаться экзотикой тот реальный мир, в котором мы живем. Если педагог сумеет этим воспользо-

ваться, то дорога к высокой классике будет открыта. Гончаров и Тургенев будут интересны не как отражение какой-то действительности, которой давно уже нет, а как очередная экзотика, в которой, однако, действуют не правила стрельбы, а правила психологии. Школьники смеются над Татьяной, которая не уходит от нелюбимого мужа. Нечего смеяться, просто в той пушкинской экзотике были такие правила игры: странные, но связные. В самом деле, ведь реализм XIX века на самом-то деле привлек когда-то читателей не «правдой жизни», а экзотикой психологической и экзотикой социальной: диалектикой душевных движений и картинами быта тех слоев общества, с которыми читатели романов в жизни очень мало сталкивались.

— И все-таки, есть ли такие понятия, как дурной вкус и хороший вкус?

— О дурном вкусе обычно говорят: пошлость, вульгарность, тривиальность. Я не против, только давайте помнить, что все это понятия не абсолютные, а относительные. То, что для начитанного человека — пошлость, для неначитанного может быть откровением. Маленькому ребенку нравятся картинки яркие, как цветные фантики (или нынешние рекламы). Он подрастает, яркость прискучивает — и он начинает искать в картинках чего-то другого. Для него яркость стала пошлостью, а для его соседа — еще нет. Когда меня спрашивают: «Вам нра-

вятся вот эти стихи?» — мне трудно ответить. Мне хочется сказать: «В пять лет мне они бы не понравились (были бы непонятны), а в пятнадцать бы понравились (пришлись бы в самый раз), а в тридцать нравились бы меньше (прискучили бы). Интересно, будут ли они мне нравиться в восемьдесят лет: вдруг я увижу в них что-нибудь новое? А нравятся ли они мне вот сейчас, на перегоне между прошлым и будущем, это, право, несущественно». Если бы я был критик, я, наверное, в каждом возрасте абсолютизировал бы свой тогдашний вкус, а обо всем, что мне не нравится, говорил бы: пошлость. Или постарался бы застыть на каком-то вкусе и больше никогда не меняться. Мне не хочется ни того, ни другого, — поэтому, наверное, я и не гожусь в критики.

— *Стало быть, вкус, по-вашему, — это, так сказать, предпосылка творческого отношения к миру, а знания — средства выработки вкуса. Но почему за вкус приходится бороться, и с таким трудом?*

— В этой борьбе есть обстоятельство, о котором часто забывают. Массовому вкусу школьника учат сверстники, учат равные: если он читал меньше модных триллеров, чем они, — он знает, что стоит ему приналечь, и он сравняется с ними, а то и превзойдет их по части приобщения к их культурным ценностям. Высокому же вкусу школьника

учат взрослые, и держатся они так важно, что подростку неминуемо приходит в голову: «Сколько я ни старайся разбираться в их книгах и симфониях, все равно не смогу так, как они, — так лучше уж не буду и пробовать». Когда я был школьником, то думал: «Моя мать знает и умеет много такого, чего я никогда не осилю; но вот языков она не знает; буду же читать по-английски, чтоб хоть в чем-то ее превзойти». Сыну я сказал: «Исландские саги, говорят, это очень интересная законченная культура, но у меня на них в жизни так и не хватило времени; попробуй ты». И он вырос не профессионалом, но очень хорошим знатоком самых разных традиционных словесностей — к своему и к моему удовольствию. А когда мне приходилось навязывать трудные книги, я это делал не как хозяин культуры, а как такой же ее подданный. Я говорил: «Тебе не понравилась эта книга? Это неважно; важно, чтобы ты ей понравился. Нравлюсь ли ей я, — не знаю; понравился ли ей ты — посмотрим».

Молодым (и инфантильным) не нравится весь мир взрослых, и его официальная культура в частности. Понять их можно: наш мир и вправду скверно устроен. А отвечать им приходится так: «Ты не век будешь молодым — в удобной роли иждивенца, брюзжащего на тот мир, который тебя содержит. Ты вырастешь, и тебе придется самому налаживать и переналаживать этот взрослый мир. Для

этого нужно иметь общий язык не только со сверстниками из своего квартала, а и со многими другими, и старшими, и младшими. Язык понятий и язык вкусов — пусть не родной тебе язык, но общий. Скажи «он — как Обломов», и все тебя поймут; очень сложная совокупность черт характера, мыслей и чувств выражена одним словом. Вот поэтому и полезно знать, кто такой Обломов и кто такой Аполлон Бельведерский: это как бы слова того языка нашей общей культуры, на котором ты будешь говорить людям все, что сочтешь нужным. Не самоцель, а средство взаимопонимания». Чем убедительнее это скажут родители и учителя, тем легче всем нам будет завтра.

2000 г.

АНТИЧНОСТЬ И СОВРЕМЕННОСТЬ
(доклад на заседании кафедры в МГУ)

Эта тема требует по крайней мере трех уточнений. Во-первых, что такое античность? Античностей, можно сказать, было две, реальная и сочиненная, и об этом мне еще придется говорить. Во-вторых, что такое современность? Современность противоречива и разнообразна, и для нас здесь ее отношение к античности одно, а для читателей сельской библиотеки другое. В-третьих, и в-главных, что такое «и», почему отношение между античностью и современностью стало вопросом?

На этот последний вопрос ответить легко. Мы живем в эпоху большого исторического перелома, по масштабам близкого к тому, который происходил при переходе от античности к «темним векам» раннего средневековья. Культуру того времени кто-то из филологов-классиков характеризовал приблизительно так: «как будто предчувствуя крушение своей эпохи, писатели поздней античности торопливо и деловито собирали чемоданы для трудного перехода, стараясь захватить с собой все главное, не брать ничего лишнего, а взятое упаковать как

можно более компактно и удобно для сохранения». Вот сейчас перед нами стоит та же задача: что из прошлого сохранить для будущего, о котором мы ничего не знаем, кроме того, что оно не будет похоже ни на прошлое, ни на настоящее? Речь идет, конечно, не только об античном прошлом, но и русском, и новоевропейском; античность взята как крайний, самый наглядный случай.

Для чего вообще должны мы хранить памятники прошлого и выяснять отношение к ним? Для того, чтобы иметь общий язык, общий вкус, общую систему художественных ценностей — тот общий язык, без которого нельзя построить вавилонскую башню будущего. Человечеству сейчас всего нужней наука взаимопонимания; а из истории мы знаем, что единство вкусов не раз сплачивало общество не меньше, чем, например, единство веры.

Для кого должны мы хранить памятники прошлого и общепризнанное отношение к ним? Это уже вопрос не отвлеченный, а практический, важный, например, для определения тиражей в издательствах. Обычно в таких случаях говорят о «средне образованном человеке» или, точнее, о «неспециалисте с высшим образованием». Это для него, составляя примечания, не надо объяснять, что Афины находятся в Греции, объяснять, какими делами занимался Ареопаг, и то ли объяснять, то ли

не объяснять, кто такой был Фемистокл. Социологический портрет такого «среднего читателя» был бы драгоценен (и, наверное, во многом неожидан), но с нашей социологической наукой вряд ли мы его скоро дождемся. Одно можно сказать: к античности этот читатель тянется, переводы античных авторов расходятся быстро — во всяком случае, так же быстро, как и переводы новейших авторов. И другое можно сказать: этот интерес к античности по большей части вызван охотой отдохнуть от современности. Это сказано не в обиду современности, о ней тоже пишут и читают достаточно, — просто потребность в экзотике была и есть у читателя все три тысячи лет, что существует литература. И третье можно сказать, хоть это и тривиальность: читатель читателю рознь, средним он никогда не бывает… Пролетарская культура XX века… охватила такую широкую массу читателей, как никогда… в центре этого круга — те читатели, которым не нужно объяснять, кто такой Фемистокл, а на периферии — те, которым нужно объяснять, где находятся Афины. Нивелировать эту разницу образования призвана школа, но опыт показал, что школа на это неспособна. Чем дальше, тем больше знания распространяются не через школу, а через научно-популярную литературу и масс-медиа. Этим самым ответственность ложится и на нас: у кого есть популяриза-

торские способности, тот просто нравственно обязан участвовать в таком просветительстве.

Наконец, что такое сама античность, которую обязан знать каждый культурный человек? Она, как я сказал, двоякая. О Евгении Онегине сказано: «Он рыться не имел охоты в хронологической пыли бытописания земли; но дней минувших анекдоты от Ромула до наших дней хранил он в памяти своей». Что такое анекдот, пояснять здесь не надо: это, по античной терминологии «краткие достопамятные слова и дела великих людей». Именно они западали в сознание культурных людей всех эпох, именно они были общим для них языком, именно поэтому Пушкину достаточно было сказать «Он в Риме был бы Брут, в Афинах Периклес», и всем всё было понятно. Точно так же, по анекдотам, заучивалась и французская история, и все другие. Наши учебники истории пытаются дать и то и другое сразу; схему исторического процесса, которая в свете марксизма очень проста и может быть изучена за год, — и анекдоты (хотя бы о том же Ромуле), по большей части выдуманные и изложенные с испуганной скукой. Знание исторического процесса бытописания земли делает человека образованным, знание исторических анекдотов — культурным. Пройдите по любому музею живописи XVI—XVIII веков — с каждой большой картины будет глядеть

или мифологический эпизод, или исторический анекдот.

Для того, чтобы сохранить памятники прошлой словесности, нужно две вещи, давно известные всем традиционалистским культурам: канон и комментарии. В Греции были выделены в канон столько-то эпиков, столько-то трагиков, девять лириков, десять ораторов, они стали предметом изучения в школах, а все остальные были заброшены. «Стали предметом изучения в школах» — значит, стали обстраиваться комментариями, дополнениями к комментариям, извлечениями из комментариев и т. д. В них не только пояснялись имена, реалии и пр., но и раскрывались метафоры, отмечались особые случаи словоупотребления, выразительные ритмы и т. д. Мы разучились делать такие комментарии даже к собственной классической литературе; а когда в массовой серии вроде «Школьной библиотеки» или «Классиков и современников» издается, скажем, Евгений Онегин без единого примечания (разве что к иностранным словам), — это уже равносильно издевательству.

Есть только один русский поэт (не знаю, классик ли), изданный именно с таким комментарием: это Кантемир. Все помнят, что он сам писал комментарии к своим сатирам, объясняя непривычному читателю всё недостаточно знакомое и в лекси-

ке, и в стиле, и в мыслях. Он понимал, что в его эпоху такой комментарий должен заменить энциклопедию новой русской культуры, — и он заменял ее. Кантемиру приходилось этим просвещать невежественное дворянство; уверены ли мы, что среди наших читателей, даже с законченным средним образованием, нет таких, которым нужна подобная энциклопедия?

И последнее. Судьба многих литературных произведений — отслужив свой срок, спускаться в детское чтение, как Гулливер или Робинзон. Я думаю, что детский «Гаргантюа» Заболоцкого принес больше пользы русскому просвещению, чем полный Любимов и Пяст. Слава богу, привычка знакомить детей с греческой мифологией, хотя бы в виде Куна, пока еще жива. Я думаю, что еще многие произведения средних веков, Возрождения и XVII–XVIII веков могли бы ожить в переработке для детей: что есть такой мальчишеский возраст, когда можно с наслаждением читать «Неистового Роланда» и, может быть, даже такой возраст у девочек, когда можно читать, скажем, «Кларису Гарло». Но это уже не касается античности. Не надо лишь бояться слова «переделка»: нормальное положение в истории литературы — это если поэт пишет, например, драму «Электра», а другой, несогласный с его трактовкой, — другую драму «Электра», по-своему. Это только в наши дни несогласный конкурент пишет

в подобном случае не новую драму, а исследование с новой интерпретацией старой драмы.

Всякое знакомство имеет две стадии: сперва знакомящиеся ищут друг в друге общие черты, которые позволили бы им сойтись ближе, а потом ищут неизвестное. Если первая стадия знакомства придется на школьное детство читателя, а вторая, открывающая глаза на специфику и разницу культур, — на студенческую юность, — это будет естественно и разумно.

А что будет дальше, когда мы с кусками античности, компактно упакованными в чемоданах, окажемся, наконец, на той стороне исторического перевала? Там нам придется из остатков старого (и кусков нового) строить новую систему эстетических ценностей, — или, вернее, новые системы ценностей, потому что психологический склад у людей разный, и универсальный классицистический идеал не всякому по мерке. Но что нужно сделать, чтобы человек быстрее нашел подходящий ему вариант общественного вкуса и чтобы легко умел понимать другие варианты общественного вкуса, — это уже дело психологов и педагогов.

1996 г.

ТРЕВОЖИТ ПРИВЫЧКА К ПОПЯТНОМУ ДВИЖЕНИЮ

(из интервью с Андреем Карауловым для журнала «Театральная жизнь»)

— *...Как мы должны осваивать культуру прошлого, для того чтобы строить культуру будущего?*

— Думать о культуре будущего я не перестаю: как, в конечном счете, и каждый из нас не перестает об этом думать. Тот путь построения социализма, по которому мы шли семь десятилетий, привел нас к катастрофе, и первая общественная реакция на этот страшный результат — осадить назад, вернуться к истокам и все начать заново. Как начать заново — об этом ясных представлений нет. Только споры. Но что такое осадить назад — очень хорошо представляют все: техника таких попятных движений давно выработана и много раз испытана русской историей. Но осаживать назад бесконечно — нельзя, поиски путей вперед стали нашей задачей, поэтому не думать о культуре будущего мы сегодня уже просто не можем.

Эта ситуация внешне напоминает ситуацию, которая много раз повторялась в истории культуры. Спор древних и новых. Одни говорят, что ста-

рые мастера были идеалом и мы можем только мечтать о том, чтобы стать их достойными эпигонами. Другие соглашаются, что Гомер и Вергилий были, конечно, гениями, но упрямо доказывают, что Расин и Вольтер, да и писатели нашего времени все-таки имеют кое-что, чего у Гомера и Вергилия не было. Лет десять назад я написал маленькую заметку в малотиражный сборник, где рискнул поставить Михаила Михайловича Бахтина в контекст 20-х годов с их попыткой прорваться в культуру будущего — «мы наш, мы новый мир построим». И связал с этим всю неприязнь Бахтина к устоявшимся формам словесности, его горячий интерес к тем становящимся, еще не утвердившим себя формам, которые он называл романом (а если бы Бахтин писал в наши дни, он назвал бы их, скорее всего, антироманом). Это было, с моей стороны, чем-то вроде объяснения в любви к этому ученому. Сейчас о Бахтине я говорить не буду; если бы я уже в те годы читал его работы, опубликованные позднее, то, конечно, выражался бы осторожнее, мне в Бахтина и теперь трудно войти: я недостаточно чувствую его душевный склад. Но сам факт устремления замечательного ученого в будущее, который в 20-е годы объединял и Бахтина, и его современников-оппонентов, мне остается близок…

— Но все-таки у вас не было и нет ответа на этот вопрос.

— Да. Чтобы ответить на вопрос, как осваивать культуру прошлого, чтобы лучше строить культуру будущего, нужно хоть сколько-нибудь отчетливо представлять себе эту культуру будущего, а я, боюсь, представляю ее себе не более отчетливо, чем любой из нас. Тем не менее что-то в ней для себя я все-таки улавливаю.

В литературоведении я, прежде всего, — филолог-античник, оглядываться на прошлое — моя прямая специальность. Античная литература — это самое органическое явление в европейской культуре, потому что она была раньше всех других литератур; все, что рождалось, шло от нее. Это пышно растущее дерево, с которого если ты хочешь сорвать листок, то неминуемо потянешь и ветку, потом сук, потом сам ствол. Работ, представляющих античную литературу как такое органическое явление, сегодня очень мало. Подавляющее большинство — это сочинения, в которых сохранившиеся памятники античной литературы разложены словно по полочкам шкафа — по эпохам, жанрам, литературным направлениям. Пользоваться такими книгами как справочниками очень удобно, но представить себе, как эти музейные препараты соединялись между собой, когда они еще не были музейными препаратами, очень трудно. Когда я за-

нимаюсь античной литературой самой по себе, я, конечно, стараюсь изучать ее как живой организм. А с точки зрения ее пользы для будущего? Чем для нас сегодня должно быть прошлое, живым организмом или таким вот «антикварным» запасом? И я пришел к выводу, что первое, безусловно, важно, но второе — неизбежно. В работу пойдет не прошлое как целое, а по элементам: что-то нужно, что-то не нужно. Мы ведь и сейчас наслаждаемся Тютчевым, не думая, что он был монархистом, и Эсхилом — совершенно не признавая то обстоятельство, что он был рабовладельцем. Ощущение прошлого как живого организма нужно хотя бы потому, что без этого нам будет крайне сложно понять, что же мы видим перед собой на музейных полках, как такая-то вещь работала в культуре и как она включалась в работу всего остального. А не зная этого, мы не сможем ее использовать по назначению или используем плохо.

— *...Может быть, мы неясно видим сегодня будущее прежде всего потому, что чувствуем: будущего может просто не быть? Я имею в виду не только космическую катастрофу, я имею в виду сегодняшнее состояние общества, в котором мы живем, и сегодняшнее состояние культуры.*

— Это метафорическое выражение. Все-таки если речь идет не о космической катастрофе, то что значит, что будущего не будет?

— Разве современная культура существует как культура?

— Безусловно. Наверное, она такова, что мы можем быть ею очень недовольны, но она есть, мы к ней принадлежим, и если мы сомневаемся в ее существовании… то это не настоящее сомнение. Когда оглядываешься на культуру прошлого, прежде всего бросается в глаза ее цельность, органичность, о которых я говорил. А когда мы обводим глазами современность, в глазах рябит и пестрит. Если бы мы жили при Эсхиле или Тютчеве, у нас бы в глазах тоже рябило и пестрило… Так что самое неуважительное слово, которое мы можем сказать о современной культуре, — это, что она очень эклектична…

— Как известно, культура живет не только в домах, она прежде всего живет в народе. Но иногда жизнь становится настолько плохой, что народ в культуре перестает нуждаться. Почему мы об этом не говорим?

— Культура материальная — это то, что народ ест, носит, чем он землю вспахивает, духовная культура — это то, о чем люди между собой и наедине с собой говорят, думают... Как может быть народ без культуры?

— Социология и статистика пугают нас, что книги Пикуля сегодня читаются с несоизмеримо большим интересом, чем книги Битова, например.

Книга мемуаров полковника Тьфу-Заволожского интересует людей (и интеллигенцию в том числе) в лучшем случае ничуть не меньше, чем работы Лихачева, Аверинцева, Мамардашвили и других замечательных умов нашего времени. А если мы вспомним, что у нас в стране живет более 280 миллионов, то очень быстро поймем, что — условно говоря — Лихачев, Аверинцев и Битов сегодня нужны лишь одному человеку из тысячи, а этот один человек по сравнению с тысячью уже не народ. Вот и получилось, что наш народ остался в стороне от дорог сегодняшней культуры. Люди перестали в ней нуждаться, потому что им некогда: они озабочены куском хлеба, жильем, устройством детей — мы слишком непросто живем, поэтому нас можно понять. Я не прав?

— Совершенно с вами согласен, но сто лет назад русский народ жил гораздо хуже, был на 80 процентов неграмотен и не слыхал о существовании Пушкина, не говоря о Шекспире; однако мы считаем, что в XIX веке русская культура достигла замечательного расцвета и — это уже доказанный факт — культура социальных верхов не уступала европейской.

— *Когда по Петербургу пронеслась весть о ранении Пушкина, толпы людей пошли на Мойку. Когда умер Пастернак, его смерть не привела к могиле толпы народа.*

— Его смерть привела к могиле достаточные толпы народа, чтобы сотрудники КГБ присутствовали, старательно перебирая их глазами и фотографируя. Смерть Пастернака была достаточно значительным общественным событием. Нельзя забывать, что в XIX веке человек, которому была небезразлична литература, не имел другой возможности узнать, что с Пушкиным, как прийти на Мойку и спросить. Для меня Пастернак в высшей степени небезразличен, но я не счел своей обязанностью ехать в Переделкино. От этого моя любовь к нему не меняется.

Не могу сказать, что современная жизнь заставляет людей отворачиваться от высокой культуры, — думаю, что не в большей степени, чем церковно-приходская школа конца XIX века заставляла учеников отворачиваться от Пушкина и Достоевского. Но что жизнь, быт не помогают, не обращают глаза и умы в эту сторону — совершенно согласен. Это общая черта церковно-приходской школы и того самоощущения культуры, которое сформировалось при Сталине, а продолжилось при Хрущеве и Брежневе. Это самоощущение точнее всего, пожалуй, определить как самодовольство. Прямое ответвление от этой самодовольной сталинско-брежневской культуры — современная советская школа. Здесь ничего не изменилось до сих пор. Советская школа семьдесят лет занималась

тем, что преподносила учащимся истины в последней инстанции, которыми будто бы достаточно напичкать человека, чтобы считать его культурным и образованным.

— Если бы вы пришли преподавать в школу — допустим, вести какой-нибудь факультатив, — чему бы вы стали учить детей? Ваш первый урок?

— Умению думать. Думать логически, последовательно, не бояться выводов, очень четко отличать интеллектуальную сторону обсуждаемых вопросов от эмоциональной. Заранее привыкнуть к тому, что в эмоциональной области все люди разные, а в области интеллектуальной все люди едины; дважды два для всех четыре, а кто лучше, Мандельштам или Сурков, — никто не знает, каждому свое. Учил бы умению останавливаться в споре, доведя его до каких-то аксиоматических положений. «А я говорю, что Мандельштам лучше, а он говорит, что Сурков лучше»; «А я говорю, что Бог есть, а он говорит, что Бога нет»; вот на этой точке обязательно и нужно останавливаться, потому что тут мысль кончается, ее под видом мысли заменяют вера или вкус. Оттого, что это смешивается в сознании, происходит много вреда; я понял это даже по тому минимальному общению со студентами, какое у меня есть.

— Что в современной жизни вас особенно тревожит? Как ученого?

— Сейчас попробую подумать… Тревожит половинчатость, наша вечная привычка к попятному движению. Наша перестройка, мне кажется, делает шаг вперед и полшага назад; а это значит скоро может получиться так, что мы опять будем делать полшага вперед и шаг назад. Тогда придет такой общественный развал, из которого мы уже не выберемся.

Есть такое греческое слово — «геронтократия», власть стариков. Они знали: век уж их измерен, а после них — хоть потоп. Это кончилось. Теперь у власти люди такого возраста, которые понимают — если будет потоп, то погибнут и они. Отсюда и перестройка.

— *Как бы вы определили для себя, что такое перестройка?*

— Я вижу: то, что происходит сейчас, не похоже на то, что происходило еще четыре года назад, и вот то, что изменилось, я привык называть перестройкой. После столь долгого отучения советского человека от всякой привычки к общественной деятельности находятся, к моему радостному изумлению, люди, которые вносят какие-то предложения, пишут письма, что-то начинают делать, возрождают в стране политическую жизнь, которая, по сути, кончилась с разгромом левых эсеров, — это все, конечно, очень хорошо. Выборы, которые только что прошли, при всех странностях избира-

тельной системы вызвали такую волну общественной активности, какой я не ожидал, — и это тоже очень хорошо.

Но тревожит именно привычка к попятному движению. Привычка делать полшага назад. К сожалению, это есть. Так всю перестройку можно повернуть вспять. Революцию 1917 года сделали, конечно, не заговорщики. Ее сделало бездарное русское правительство, умудрившееся загнать российское существование в такой тупик, что взрыв стал неизбежен. Ленин сумел собрать то, что осталось от этого взрыва, и, увидев, что цель всей его жизни — мировая революция — оказалась недостигнутой, нашел в себе силы повернуть в совершенно другую сторону: на нэп, на построение социализма в отдельно взятой стране, хотя и отчетливо, конечно, понимал, что социализм в отдельной нищей стране будет похож совсем не на то, о чем он мечтал. Сейчас нужно совсем немного для того, чтобы при скверном владении политикой загнать Россию в такой тупик, в какой она была загнана к февралю 1917 года. То, что до этого недалеко, ясно каждому, кто ходит в магазин. А вот как мы будем выбираться из кризиса — взрывно или безвзрывно, — вот это я пока себе представить не могу.

— Очень интересно, что так говорите именно вы. С такой нотой отчаяния сегодня не гово-

рят даже те практики-экономисты, которые настроены более чем мрачно.

— В публицистике, печатавшейся, ноты отчаяния были — еще какие...

— *У меня складывается ощущение, что вы, ученый, непосредственно занимающийся великой литературой, сегодня отдаете предпочтение публицистике, но не большой прозе.*

— Тут все просто. Большая проза обслуживает наше эстетическое чувство, мне как филологу, есть чем его обслужить, а публицистика говорит со мной о том, о чем Цицерон и Вергилий мне не скажут. Сегодня это важнее.

Вообще катастрофически не хватает времени. Современную поэзию — читаю, хотя чувствую, что это уже не мое поколение, воспринимать ее мне часто бывает трудно; чувствую, что не ощущаю разницы между новыми поэтами, которые для их сверстников, наверное, различны, как небо и земля. А на большую прозу времени совсем нет.

— *Михаил Леонович, вам, человеку кабинетному, как вы сами говорите, не хотелось бы быть больше приближенным к жизни, что ли?*

— Тогда определите, пожалуйста, что такое жизнь?..

— *Спрошу иначе: вам не хотелось бы сегодня заниматься не только академической наукой, но и сочетать эту работу с литературной критикой,*

журналистикой, то есть с теми формами, которые имеют определенный общественный темперамент?

— Понимаю, понимаю, — нет. По-видимому, мой научный темперамент рассчитан именно на кабинетные формы работы; даже на своих лекциях — когда мне приходится этим заниматься — я чувствую себя как чужой, хотя с небольшими группами людей, которые обращаются ко мне с какими-то вопросами, я общаюсь охотно и нахожу в этом общении удовольствие. Пользуясь английской терминологией, могу твердо сказать: я был бы плохим лектором для большой аудитории, но был бы хорошим тьютором для занятий с несколькими учениками.

— *Если бы вас выдвинули в народные депутаты СССР, вы бы наверняка взяли самоотвод. Так?*

— Политика — это такая же специальность, как литературоведение. Ей надо учиться теоретически или практически. По этой причине я бы и отказался.

— *Но мы живем в такой стране, где профессионального парламента никогда не было, если вести летосчисление с 1917 года. Научиться профессии политика в нашей стране просто невозможно. Однако уже сегодня... вот никому не пришло в голову выдвинуть в этот парламент Лотмана, Мелетинского, Гуревича, Мамардашвили —*

человека, который обладает, кстати сказать, общественным темпераментом. А если бы пришло, то засмеяли бы, пожалуй. Так ведь? Не пришло в голову выдвинуть вас. Вот вы улыбаетесь...

— Правильно, правильно...

— *...Получилось, что опять огромное количество достойных людей, которым, право же, было бы что сказать с этой трибуны, ее не получат, теперь уже во многом по собственной вине... Если уж Сергей Сергеевич Аверинцев первый раз в жизни пошел в Кремль на встречу Генерального секретаря с творческой интеллигенцией, то он просто не имел морального права сидеть и молчать, не поднять руку и не сказать... что постановление Совмина, ограничивающее деятельность кооперативов, это, извините, дикость... И кого, как не Аверинцева, там послушали бы? Ведь эта встреча и задумывалась как совет с интеллигенцией... не кажется ли вам?..*

— Кажется... Но гласность имеет разные формы. Если я выйду на трибуну в Кремле, я буду смешон. А вот написать статью о том, что сама логика жизни требует, чтобы к кооперативам не относились бы по-дубельтовски, я могу, это в моих силах. Напомню: Дубельт — это шеф жандармов при Николае I (очень умный, кстати), всегда говоривший, что просвещение подобно лекарству, которым в одних дозах можно исцелиться, а в дру-

гих отравиться; поэтому просвещение нужно принимать в той дозировке, которую прописывает правительство. Постановление, запрещающее кооперативам выпускать, во-первых, яды и наркотики, а в-последних, книги, — удивительно напоминает логику Дубельта… Но что делать, вы правы: ничего подобного я так и не написал. Очевидно, решил, что это лучше меня сделают другие. У нас все надеются, что другие сделают лучше, — выходит, и я тут не отстаю...

Сейчас все чаще раздаются голоса, призывающие обсудить вопрос о многопартийной системе. Я думаю, что ситуация в стране такова, что сегодня все партии в принципе будут выступать за одно и то же, у нас нет альтернативы, разница между партиями будет состоять лишь в том, что одна партия потребует от перестройки более широких шагов, другая — семимильных, а третья... ну, худших вариантов я воображать не пробовал...

— А вы выступаете как радикал? За более радикальные преобразования?

— За более решительные. Судя по тому, что я читаю в публицистике, мы так далеко зашли в тупик, что выходить на твердую дорогу нужно скорее. Это ведь тупик даже не политический, а экономический, — по марксизму, это страшнее.

— Какие беды, Михаил Леонович, нам принес метод «социалистического реализма»?

— Прежде всего, он категорически объявил себя вершиной, выше которой ничего нет и не может быть. Он гарантировал остановку душевного развития и духовных исканий — мешал людям думать. Во-вторых, он представлял действительность не такой, какова она есть, а такой, какой она должна быть — мешал людям видеть. Не только в литературе — везде: в живописи, в кинематографе, в театре; формулы для этого придумывались разные, но они в равной мере не побуждали, а отучали людей от правды в искусстве.

— *Как сильно, на ваш взгляд, наша идеология помешала нормальному развитию литературоведения как науки? Насколько эти пути были искорежены? Или все-таки литературоведение развивалось более-менее нормально... вода дырочку найдет?*

— Вода дырочку найдет. И находила. Характерно, что, как только наступала оттепель, вдруг оказывалось, что у нас есть достаточное количество ученых, которые тут же готовы расправить свои творческие крылья, как бабочки после анабиоза. По-моему, Аверинцев где-то говорил или писал, что удивляться надо не тому, как долго и упорно у нас вколачивали в забвение Гумилева, а тому, что, как только этот кляп был вынут, вдруг оказалось, что знатоков Гумилева достаточно для того,

чтобы в три года выпустить три научных издания гораздо лучшего качества, чем эмигрантские.

— Что в нашем отношении к XIX веку вас особенно тревожит? В чем, на ваш взгляд, главная проблема?

— В том, что его проходят в школе. Это самая надежная гарантия получить к нему отвращение на всю жизнь. У нас очень мало работ, которые смотрели бы на XIX век свежим взглядом и с нетрадиционных сторон. Но время от времени они все-таки появляются. Одной из таких работ я, между прочим, считаю сугубо ненаучный роман Набокова «Дар». На мой взгляд, то, что там написано о Чернышевском, замечательно, и, при всем ироническом отношении Набокова к Чернышевскому, он у него получается и героичнее, и человечнее, чем, наверное, хотелось самому автору.

— Какова, на ваш взгляд, главная задача нашего общества сегодня? Накормить себя? Или все-таки нет?

— Накормить себя. Если даже с величайшими духовными достижениями мир вымрет от голода, мировой культуре пользы от этого не будет. Беда в том, что не одна, а две главные задачи есть у нашей духовной культуры и они друг другу, как часто бывает, мешают. Первая: продолжать распространение культуры вширь, в ту рабоче-крестьянскую массу, которая сто лет назад была поголовно

неграмотной, и не забывать, конечно, о том, что «голодное брюхо к учению глухо» и бывают такие ситуации, когда сапоги действительно дороже Шекспира. Вторая задача — развивать культуру вглубь… и хочется верить, что уже близок тот момент, когда стадия борьбы с рабоче-крестьянской полуграмотностью будет наконец пройдена и начнется новое движение вглубь. Но, может быть, это иллюзия, и я до этого не доживу?

1989 г.

ИСТОРИЯ УЧИТ НЕ ТОЛЬКО ПЕССИМИЗМУ
(из интервью студенческой газете Тартуского университета)

— *Что вызывает у Вас наибольший пессимизм в современном состоянии культуры?*

— Полторы тысячи лет назад мы пережили переход от античной литературы к средневековой литературе через темные века; после этого увлекаться пессимизмом было бы слишком претенциозно. Происходит, во-первых, продолжающийся процесс распространения науки в неграмотные и полуграмотные слои населения с соответственными потерями на этом пути — и, во-вторых, очередной рывок, чтобы нагнать европейскую литературу, тоже с существенными потерями на этом пути, отставанием арьергарда от авангарда и т. д. Но это процессы естественные, русская литература переживает их не в первый и не во второй раз. Умиляться современностью я не склонен, но для пессимизма она дает не больше оснований, чем любая другая эпоха.

Когда я был студентом, мой коллега, германист, меня осторожно спросил: «Вот вы — античник, а какое значение для современного человека

имеет изучение истории? Фридрих Шиллер считал оно возвышает и очищает, а теперь, наверное, не совсем так?». Я ответил, что и теперь так: изучая историю, видишь, сколько человечество совершало глупостей, из которых очень многие могли быть роковыми, и все-таки оно живо. История по-прежнему учит нас, если угодно, пессимизму: в том смысле, что из опыта предшественников ничего почерпнуть невозможно, но в то же время — и оптимизму, потому что, несмотря на это, человечество все-таки еще существует.

— Как Вы относитесь к современной политической ситуации? Например, Юрий Михайлович [Лотман] полагает что в истории бывают такие моменты, когда возникает множество путей, по любому из которых она могла бы пойти дальше, но по которому из них — предугадать невозможно...

— Я думаю, что ни в какой момент нельзя предсказать, куда пойдет история, Во всяком случае, подавляющее большинство исторических прогнозов, которые делались хотя бы в XIX—XX веках (чтобы глубже не идти), как правило, не сбывались. Кто-то сказал, что чемпионом по части несбывшихся прогнозов был Ф. М. Достоевский. Потому-то случайно сбывшиеся прогнозы кажутся такими яркими. Ну, а на вопрос «как вы относитесь...» отвечу: как все, с тревогой. Но что боль-

ше всего меня тревожит, раздражает, беспокоит, пугает — это систематическое запаздывание со всеми решениями и шагами. Отчего это происходит, какие столкновения противоборствующих сил там, за пределами гласности, образуют эту равнодействующую, — я знаю не больше вашего. Но достаточно представить себе, что было бы, если бы в 1921-м году вместо декрета о замене продразверстки продналогом был опубликован «пятилетний план перестройки», — и станет очень невесело. Сейчас, по-моему, приблизительно это и происходит.

Когда начались карабахские события и моя коллега-славист из Западной Германии спросила меня об этом, я ответил, что при первом признаке чего-нибудь подобного Ленин в 24 часа распустил бы Советский Союз и, если бы собрал его, то иначе. Она сказала, что в наше время, после сталинского режима, это невозможно. А вот сейчас мы видим, что о новом режиме федерации как очередной задаче говорится вполне официально; но сколько катастрофического совершилось, еще совершится за это отпущенное время!

— *Как Вы относитесь к прибалтийской установке на полное отделение?*

— Я за то, чтобы Союз был распущен и создан заново — но, разумеется, по добровольному желанию его участников. Чтобы он превратился из по-

добия Британской империи в подобие Британского содружества наций.

Кроме того, само понятие «Прибалтика» меня немного смущает. Она ведь неоднородна. Литва, к примеру, исторически гораздо ближе к Белоруссии, а политически — к Латвии и Эстонии. От таких несовпадений всегда было больше нехорошего, чем хорошего. В 20-е годы в Вильнюс, который тогда был под Польшей и активно полонизировался, приехал крупнейший историк XX века и теоретик истории А. Тойнби. Он мимоходом бросил очень любопытную характеристику Вильнюса: город, заселенный по преимуществу белорусами и евреями, за который борются, однако, литовцы и поляки.

— *Вы упомянули Карабах. Как Вы оцениваете азербайджанско-армянскую ситуацию?*

— Я здесь объективным быть не могу. У меня армянская фамилия. Муж моей матери был родом из этого самого Карабаха. Он учился в Баку, и все друзья его были тюрки. И хотя шушинская резня у всех была на памяти, но тогда, в первой половине 30-х годов, которые нам отсюда кажутся ужасными, представить себе подобное сегодняшнему было невозможно.

Вообще, представлять себе советскую национальную политику только по позднесталинским годам не следует. Первые лет пятнадцать Советской власти дали национальностям очень много. В ар-

хиве я недавно читал письмо 1919 г. (к Вере Меркурьевой от Ильи Эренбурга из Киева) на бланке литературно-артистического кружка. Гриф над бланком был на пяти языках: русском, украинском, польском и на двух еврейских. Может кто-нибудь сейчас это вообразить?

— *Чтобы закрыть эту тему — такой, типичный для газетчика, вопрос: если бы Вы, как Ваш коллега С. С. Аверинцев, были депутатом, то...*

— ...Я бы, как моя не-коллега Юлия Друнина, попросил бы увольнения.

1990 г.

ЧЕРЕЗ СТУПЕНЬКУ
(из ответов на анкету Литературного музея)

— *Как события современной общественной жизни воздействуют на ваше творчество, внутреннее состояние и социальное поведение? Какие из них считаете важнейшими? Участвуете ли в партиях и движениях?*

— Важнейшие события: «оттепель», потом перестройка, теперь борьба за демократизацию. По ним вижу, как нужно России просвещение, и стараюсь для него делать что могу. Но в экономике и политике я не специалист, и партиям и движениям бесполезен.

— *Чем был XX век в истории России — революция, культ личности, война, «оттепель», перестройка, распад СССР, социально-политические и нравственные итоги?*

— Был цепью причин и следствий. В начале века Россия торопливо индустриализировалась вслед Западу. Будучи нищей, она делала это на французские (и иные) займы. За это нужно было платить участием в непосильной войне 1914 года. Такая война неминуемо вела к революции. (Отчего

бывают революции? Оттого, что всякому народному терпению приходит конец; а заметить этот конец заблаговременно власть не умела). Если бы русская революция слилась с германской, как рассчитывал Ленин, то во главе мирового социализма стояла бы Германия, на месте России, а в хвосте его Россия, на месте Китая. Европу спасла Польша: сто лет русской власти родили в ней такую всенародную ненависть, что она нашла силы для отпора 1920 году. России осталось строить социализм в отдельно взятой нищей стране. Такой социализм (кажется, Ленин считал его «государственным капитализмом»?) мог обернуться только сталинским режимом. О Сталине лучше всего сказано в Британской энциклопедии: «Он сделал Россию из страны сохи страной атомной бомбы, но он хотел управлять страной атомной бомбы так, как управлял страной сохи». Чтобы выйти из этого противоречия, понадобились оттепель, перестройка и демократизация. А демократизация означает деколонизацию, то есть распад Союза. Россия и за ней СССР были колониальной империей, хотя колонии были и не заморскими; в Европе пик деколонизации был в 1960 году (со всеми тяжкими последствиями и для колоний, и для беженцев из колоний), у нас этот пик сейчас: как всегда, Россия отстает ровно на одно поколение. Никаких итогов нет: цепь причин и следствий продолжается.

— Кто в наибольшей степени (со знаком плюс или минус) оказал воздействие на ход истории XX в.?

— В мире, наверное, Эйнштейн; в Европе, к сожалению, Гитлер; в России — заведомо Ленин: без него бедствия России были бы иными.

— Русская (и «советская») литература XX века в контексте отечественной и мировой культуры: периоды, явления, имена?

— В истории культуры чередуются периоды развития вширь и вглубь… XX век стал движением в ширь невежественного пролетариата и крестьянства; а какой идеологией и стилистикой оформлялась эта массовая «советская» культура, не столь уж важно. Это — периоды; а явления и имена общеизвестны. Сейчас культура еще не кончила в своем пласте распространяться вширь, но уже пытается двигаться и вглубь; такие преждевременные попытки называются авангардом.

— Какова судьба и роль русской интеллигенции в XX веке?

— Интеллигенция есть часть народа, она чувствует то же, что и народ, но лучше это осознает… Хорошо бы уточнить, что имеется в виду под интеллигенцией. Когда с одинаковой легкостью говорят «типичным русским интеллигентом был Чехов» и «типичным русским интеллигентом был Бердяев», то это понятие лишается всякого конкретного содержания.

— «Русская идея», «Россия и Запад», «Россия и Восток»: современное состояние этих проблем?

— «Русская идея» — это пережиток гегельянства. Гегель считал, что носителем тезиса мировой идеи был Восток, носителем антитезиса — античность, а носителем синтеза — германство; а все остальные народы, непричастные к этой идее, были мусором, этнографическим материалом... Кто думает, что в истории и вправду есть мусорные народы, пусть продолжает из самолюбия искать себе «русскую идею»; я не могу. «Россия и Запад» — это значит, что Россия принадлежит к европейско-христианской культуре, центром которой сперва были Греция и Рим, потом Италия и романский Запад, теперь США с Англией, Франция и Германия, а Россия со всеми остальными странами оставалась на периферии. Все не западные культуры в просторечии называются «Восток»; собственного смысла это понятие не имеет, потому что между исламом, Индией, Китаем и Японией очень мало общего.

— Каково будущее России? с какими процессами вы его связываете?

— Все то же: Россия по-прежнему будет взбегать через ступеньку вслед Западу и когда-нибудь сравняется с ним. Так взбегая, трудно не падать; сейчас она упала и расшиблась о ступеньки, а встанет ли она с левой ноги или с правой, не так уж важно.

2004 г.

ОБЯЗАННОСТЬ ПОНИМАТЬ
(«Путь к независимости и права личности» – дискуссия в журнале «Дружба народов»)

Я — человек. Считается, что уже поэтому я — личность. Если я — личность, то какие я чувствую за собой права? Никаких. Я не сам себя создал, и Господь Бог не трудился надо мной, как над Адамом. Меня создало общество, пусть даже это были только два человека из общества, отец и мать. Зачем меня создало общество? Чтобы посмотреть, что из меня получится. Если то, что ему на пользу, — хорошо, пусть я продолжаю существовать. Если нет — тогда в переплавку, в большую ложку Пуговичника из «Пер Гюнта».

Почему я не чувствую за собой права на существование? Потому что мне достаточно представить себя на необитаемом острове — в одиночку, как самодовлеющую личность. Выживу ли я? От силы два-три дня. Голод, холод, хищные звери, ядовитые травы — нет, единственное мое заведомое личное право — умирать с голоду. Все остальные права — дареные. Триста лет назад, когда общество еще не было таким дифференцированным, может быть, выжил бы. И Дефо написал бы с меня

«Робинзона Крузо», изрядно идеализировав. Но времена робинзонов, которые будто бы сами творят цивилизацию (а не она — их), давно прошли. Кстати, Робинзон с Пятницей — кто они были: нация? народ? этнос, с этническим большинством и этническим меньшинством?

Есть марксистское положение: личность — это точка пересечения общественных отношений. Когда я говорил вслух, что ощущаю себя именно так, то даже в самые догматические времена собеседники смотрели на меня как на ненормального. А я говорил правду. Я зримо вижу черное ночное небо, по которому, как прожекторные лучи, движутся светлые спицы социальных отношений. Вот несколько лучей скрестились — это возникла личность, может быть — я. Вот они разошлись — и меня больше нет.

Что я делаю там, в той точке, где скрещиваются лучи? То, что делает переключатель на стыке проводов. Вот откуда-то (от единомышленника к единомышленнику) послана научная концепция — протянулось социальное отношение. Вот между какими-то единомышленниками протянулась другая, третья, десятая. Они пересеклись на мне: я с ними познакомился. Я согласовываю в них то, что можно согласовать, выделяю более приемлемое и менее приемлемое, меняю то, что нуждается в замене, добавляю то, что мой опыт социальных отно-

шений мне дал, а моим предшественникам не мог дать; наконец, подчеркиваю те вопросы, на которые я так и не нашел удовлетворительного ответа. Это мое так называемое «научное творчество». (Я филолог — я приучен ссылаться на источники всего, что есть во мне.) Появляется новая концепция, новое социальное отношение, луч, который начинает шарить по небу и искать единомышленников. Это моя так называемая «писательская и преподавательская деятельность».

Где здесь место для прав личности? Я его не вижу. Вижу не права, а только обязанность, и притом одну: понимать. Человек — это орган понимания в системе природы. Если я не могу или не хочу понимать те социальные отношения, которые скрещиваются во мне, чтобы я их передал дальше, переработав или не переработав, то грош мне цена, и чем скорее расформируют мою так называемую личность, тем лучше. Впрочем, пожалуй, одно право за собой я чувствую: право на информацию. Если вместо десяти научных концепций во мне перекрестятся пять, а остальные будут перекрыты, то результат будет гораздо хуже (для общества же). Вероятно, общество само этого почему-либо хотело; но это не отменяет моего права искать как можно более полной информации.

Я уже три раза употребил слово «единомышленник». Это очень ответственное слово, от его

понимания зависит все лучшее и все худшее в том вопросе, который перед нами. Поэтому задержимся на нем.

Человек одинок. Личность от личности отгорожена стенами взаимонепонимания такой толщины (или провалами такой глубины), что любые национальные или классовые барьеры по сравнению с этим — пустяк, мелочь. Но именно поэтому — люди с таким навязчивым пристрастием останавливают внимание на этой мелочи. Каждому хочется почувствовать себя ближе к соседу, и каждому кажется, что для этого лучшее средство — отмежеваться от другого соседа. Когда двое считают, что любят друг друга, они не только смотрят друг на друга, они еще следят, чтобы партнер не смотрел ни на кого другого (а если смотрел бы, то только с мыслью «а моя (мой) все-таки лучше»). Семья, дружеский круг, дворовая компания, рабочий коллектив, жители одной деревни, люди одних занятий или одного достатка, носители одного языка, верующие одной веры, граждане одного государства — разве не одинаково работает этот психологический механизм? Всюду смысл один: «самые лучшие — это мы». Еще Владимир Соловьев (и, наверное, не он первый) определил патриотизм как национальный эгоизм.

Ради иллюзии взаимопонимания мы изо всех сил крепим реальность взаимонепонимания — как

будто она и так не крепка сверх моготы! При этом чем шире охват новой сверхкитайской стены, тем легче достигается цель. Иллюзия единомыслия в семье или в дружбе просуществует не очень долго: на каждом шагу она будет спотыкаться о самые бытовые факты. А вот иллюзия классового единомыслия или национального единомыслия — какие триумфы они справляли хотя бы за последние два столетия! При этом природа не терпит пустоты: стоило увянуть мифу классовому, как мгновенно расцветает миф националистический. Я чувствую угрызения совести, когда пишу об этом. По паспорту я русский, а по прописке москвич, поэтому я — «этническое большинство», мне легко из прекрасного далека учить взаимопониманию тех, кто не знает, завтра или послезавтра настигнет их очередная «ночь длинных ножей». Простите меня, читающие.

У личности нет прав — во всяком случае тех, о которых кричат при построении новых взаимоотношений. У личности есть обязанность — понимать. Прежде всего понимать своего ближнего. Разбирать по камушку ту толщу, которая разделяет нас — каждого с каждым. Это работа трудная, долгая и — что горше всего — никогда не достигающая конца. «Это стихотворение — хорошее». — «Нет, плохое». — «Хорошее потому-то, потому-то и потому-то» (читатель, а вы всегда сможете назвать эти «потому-то»?) — «Нет, потому что...» и

т. д. Наступает момент, когда после всех «потому что» приходится сказать: «Оно больше похоже на Суркова, чем на Мандельштама, а я больше люблю Мандельштама». — «А я наоборот». И на этом спору конец: все доказуемое доказано, мы дошли до недоказуемых постулатов вкуса. Стали собеседники единомышленниками? Нет. А стали лучше понимать друг друга? Думаю, да. Потому что начали — и, что очень важно, кончили — спор именно там, где это возможно. (Согласитесь, что чаще всего мы начинаем спор именно с того рубежа, где пора его прекращать. А ведь до этого рубежа нужно сперва дойти.) Я нарочно взял для примера спор о вкусе, потому что он безобиднее. Но совершенно таков же будет и спор о вере. Кончится он всегда недоказуемым постулатом: «Верю, ибо верю». А что постулаты всех вер для нас, людей, равноправны — нам давно сказала притча Натана Мудрого.

Если такие споры никогда или почти никогда не приводят к полному единомыслию, то зачем они нужны? Затем, что они учат нас понимать язык друг друга. Сколько личностей, столько и языков, хотя слова в них сплошь и рядом одни и те же. Разбирая толстую стену взаимонепонимания по камушку с обеих сторон, мы учимся понимать язык соседа — говорить и думать, как он. Чувство собственного достоинства начинается тогда, когда ты растворяешься в другом, не боясь утратить себя. Почему

Рим победил Грецию, хотя греческая культура была выше? Один историк отвечает: потому что римляне не гнушались учиться греческому языку, а греки латинскому — гнушались. Поэтому при переговорах римляне понимали греков без переводчика, а греки римлян — только с переводчиком. Что из этого вышло, мы знаем.

Сколько у вас бывает разговоров в день — хотя бы мимоходных, пятиминутных? Пятьдесят, сто? Ведите их всякий раз так, будто собеседник — неведомая душа, которую еще нужно понять. Ведь даже ваша жена сегодня не такая, как вчера. И тогда разговоры с людьми действительно других языков, вер и наций станут для вас возможнее и успешнее.

И последнее: чтобы научиться понимать, каждый должен говорить только за себя, а не за чье-либо общее мнение. Когда в гражданскую войну к коктебельскому дому Максимилиана Волошина подходила толпа, то он выходил навстречу один и говорил: «Пусть говорит кто-нибудь один — со многими я не могу». И разговор кончался мирно.

Нас очень долго учили бороться за что-то: где-то скрыто готовое общее счастье, но его сторожит враг, — одолеем его, и откроется рай. Это длилось не семьдесят лет, а несколько тысячелетий. Образ врага хорошо сплачивал отдельные народы и безнадежно раскалывал цельное человечество. Теперь

мы дожили до времени, когда всем уже, кажется, ясно: нужно не бороться, а делать общее дело — человеческую цивилизацию; иначе мы не выживем. А для этого нужно понимать друг друга.

Я написал только о том, что доступно каждому. А что должно делать государство, чтобы всем при этом стало легче, я не знаю. Я не государственный человек.

1992 г.

УЧИТЬСЯ ЯЗЫКУ СОБЕСЕДНИКА
(из статьи «Критика как самоцель»)

...Вопрос *хорошо* или *плохо* всегда предполагает сравнение: *лучше* или *хуже* кого-то или чего-то другого. Когда такие сравнения делаются в пределах одной культуры, они бывают изящны: кто лучше, Эсхил или Еврипид, Корнель или Расин, Евтушенко или Вознесенский? Думаю, однако, что гораздо интереснее были бы сравнения между разными культурами, хотя их обычно избегают из-за трудности: кто талантливей, Дельвиг, Шершеневич или Юрий Кузнецов? А интереснее такие сравнения вот почему. Нам ведь только кажется, будто мы читаем наших современников на фоне классиков, — на самом деле мы читаем классиков на фоне современников, и каждый из нас в своей жизни раньше знакомится с Михалковым, чем с Пушкиным, и с Пушкиным, чем с Гомером. Отдавать себе отчет в том, где здесь прямая перспектива и где обратная, было бы очень полезно. И это относится ко всем векам: когда римляне осваивали греческую культуру, они заставляли себя читать Каллимаха, а уважать Гомера. Это очень мешает строить систему вкуса: в луч-

шем случае получается сознательное лицемерие, а в худшем бессознательное...

Для меня в этом мире не создано и не приспособлено ничего: мне кажется, что каждый наш шаг по земле убеждает нас в этом. Кто считает иначе, тот, видимо, или слишком уютно живет (замечает те книги, какие хочет, и не замечает тех, каких не хочет), или наоборот, так уж замучен неудобствами этого мира, что выстраивает в уме воображаемый и считает его единственным или хотя бы настоящим. Так что вместо «нарциссическая филология» можно сказать «солипсическая филология». А я привык думать, что филология — это служба общения.

Общение это очень трудное. Неоправданно оптимистической кажется мне модная метафора, будто между читателем и произведением (и вообще между всем на свете) происходит диалог. Даже когда разговаривают живые люди, мы сплошь и рядом слышим не диалог, а два нашинкованных монолога. Каждый из собеседников по ходу диалога конструирует удобный ему образ собеседника. С таким же успехом он мог бы разговаривать с камнем и воображать ответы камня на свои вопросы. С камнями сейчас мало кто разговаривает — по крайней мере, публично, — но с Бодлером или Расином всякий неленивый разговаривает именно как с камнем и получает от него именно те ответы, которые

ему хочется услышать. Что такое диалог? Допрос. Как ведет себя собеседник? Признается во всем, чего домогается допрашивающий. А тот принимает это всерьез и думает, будто кого-то (что-то) познал.

Когда мы читаем старые «Разговоры в царстве мертвых» — Цезарь со Святославом, Гораций с Кантемиром, — мы улыбаемся. Но когда мы сами себе придумываем разговор с Пушкиным или Горацием, то относимся к этому (увы) серьезно. Мы не хотим признаться себе, что душевный мир Пушкина для нас такой же чужой, как древнего ассирийца или собаки Каштанки. Вопросы, которые для нас главные, для него не существовали, и наоборот. Мы не только не можем забыть всего, что Пушкин не читал, а мы читали, — мы еще и не хотим этого: потому что чувствуем, что из этих-то книг и слагается то драгоценное, что нам кажется собственной нашей личностью. Оттого мы и предпочитаем смотреть на дальние тексты сквозь ближние тексты, будь то Хайдеггер или Лимонов.

Максимум достижимого — это учиться языку собеседника; а он такой же трудный, как горациевский или китайский. Конечно, это меня просвещает и обогащает — но ровно столько же, сколько обогащает изучение китайского языка. (Можно ли говорить о диалоге с учебником китайского языка?)

1994 г.

ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ И РЕВОЛЮЦИЯ
(ответы на анкету журнала «Знамя»)

— *Считаете ли вы, что русская интеллигенция с момента своего возникновения являлась инициатором всех общественных движений и революций в стране?*

— Прежде всего: что такое интеллигенция? (И считаю ли я себя интеллигентом?) По общеевропейскому пониманию, это слой общества, воспитанный для того, чтобы руководить обществом, но не нашедший для этого вакансий и предлагающий обществу свою критику или свои предложения со стороны. Если так, то принадлежность к интеллигенции решается внутренним чувством: чувствуешь ли ты себя призванным руководить обществом? Я не чувствую: я знаю, что если меня поставить президентом, то я с лучшими намерениями наделаю много фантастических глупостей. Поэтому я предпочитаю называть себя работником умственного труда.

Затем: с какого момента возникла интеллигенция? Вероятно, с того момента, когда люди почувствовали, что они живут нехорошо и что обществу

нужно какое-то руководство, чтобы жить лучше. Тогда первыми пришлось бы назвать религиозных учителей, Будду и Христа. Думаю, что говорить об этом нелепо. Взглянем поуже: когда Россия почувствовала, что завтрашний день не должен повторять вчерашний, а должен быть новым? В XVII—XVIII веках, после Смуты и Петра I. Можно ли сказать, что идеи князя Хворостинина оказали влияние на Разина, а идеи вольтерьянцев на Пугачева? Смешно и думать. Общественные движения — результат стихийных, массовых социальных сдвигов, и искать для них инициаторов — это значит ставить небезынтересный, но практически праздный вопрос, кто первым сказал «ату!».

Интеллигенция была осознавателем общественных движений, но не инициатором их.

— *Существует ли некая граница между интеллигенцией и народом? если да, то где она пролегает? Или духовные прозрения и духовные болезни интеллигенции являются лишь отражением (усиленным) прозрений и болезней народа?*

— Видимо, ответ вытекает из сказанного: интеллигенция есть часть народа, чувствует то же, что и народ, но в силу лучшего образования лучше это осознает и дает этому выражение. Граница пролегает по уровню образования. Усиленное это выражение или нет — вопрос к статистике, которой в общественных науках всегда трудно. Погибло ли

жертвой коллективизации два, пять или десять миллионов крестьян, можно ли говорить, что отношение наше к этой трагедии преувеличено?

— *В какой степени творцов русской классики можно причислить к интеллигенции?*

— Вероятно, по сказанному: если у них есть законченная программа общественного переустройства, то можно. Толстого можно: устроить русскую жизнь по Генри Джорджу — и все вопросы решатся. Чернышевского тем более можно. (Только считают ли его авторы анкеты «творцом русской классики»?) А вот Лермонтова или Гончарова, наверно, нельзя.

— *Можно ли считать, что русская классика и русская интеллигенция обладали принципиально различными мироощущениями? Народолюбие интеллигенции и народолюбие русской классической литературы — явления разные?*

— Может быть, высокие слова «русская классика» и «русская интеллигенция» лучше заменить более внятными «русская литература» и «русская публицистика»? Тогда окажется, что литература, как это ей и положено, изображает жизнь такой, как она есть (с той стороны, которая доступнее писателю), а публицистика — какой она должна быть (по мнению пишущего). Чем ближе глаз к картине, тем народолюбие конкретнее, чем дальше — тем абстрактнее; промежуточных ступеней —

бесконечное множество, а явление — одно и то же. Вот когда крайности того и другого рода совмещаются, как иногда у Достоевского, то это всего интереснее для изучения. «Народолюбие» — тоже не совсем точный термин. Николай Успенский любил свой народ до жестокой ненависти.

— *Можно ли говорить о слепом, культовом преклонении творцов русской культуры перед народом и о том, что этот культ стал причиной будущей гибели русской классической культуры?*

— Во-первых, я не вижу гибели русской культуры. Кончается одна ее форма (которую нам сейчас угодно называть классической) — начинается другая, менее привычная и потому менее симпатичная нам, но которая станет «классической» для наших детей. Обычное течение истории, никакой катастрофы.

Во-вторых, я не вижу преклонения творцов культуры перед народом. Ломоносов, Пушкин, Гоголь преклонялись перед народом? Щедрин, Лесков, Горький говорили народу: ты нищ и невежествен, поэтому ты лучше нас? Нет, они говорили: пусть нищета и невежество перестанут душить твои способности и душевные качества — и ты увидишь, что ты не хуже, а то и лучше нас.

В-третьих, когда я вижу человека, который ничуть не хуже меня, а живет много хуже, и испытываю из-за этого угрызения совести, — можно ли

это называть «слепым, культовым преклонением»? Не думаю.

— *Какие произведения классики объективно способствовали развитию революционных настроений? Может быть, «Отцы и дети», «Гроза», «Мертвые души» превратно понимались как призыв к насильственному переустройству мира? Каков механизм подобного неадекватного восприятия и где корни такого узкореалистического, прагматического подхода к литературе?*

— Тем, что речь идет не о бытии, а о сознании, понятие «объективно» исключается: все воспринимается только субъективно. Даже воля автора здесь не указ: Шекспир не вкладывал в «Гамлета» и сотой доли того, что вкладываем мы. А характер субъективного прочтения вещи определяется общественной обстановкой. Если художественное произведение говорит «наша жизнь нехороша» (а это говорит каждое честное художественное произведение), то у многих слушателей, естественно, встанет вопрос: а как ее исправить? — и ответы могут быть самые неожиданные. В Писании нет призывов к революции, но от Дольчино до Кромвеля все революционные движения начинались с Библией в руках. В чеховской «Палате номер шесть» нет ничего революционного, а Ленину она помогла стать революционером.

— *В какой степени революционные идеи шли из верхнего слоя общества в народ и в какой — из*

народа «вверх»? Возникали ли революционные настроения больше от субъективного восприятия действительности или от реальных бедствий народа?

— Вопрос повторяет предыдущие. Психология всякой жалости: человек видит чужое несчастье, примеривает на себя, пытается прочувствовать и обращает свое чувство к ближнему. Из народа вверх шло страдание, сверху вниз — сознание необходимости покончить с этим страданием («лучше был бы твой удел, когда б ты менее терпел»). Каким образом покончить с этим страданием — здесь уже начинаются тактические разногласия революционеров.

— *В какой мере русская классика объективно готовила потрясения 1825 года, народовольчества, 1905 года, Февраля, Октября?*

— Не «готовила», а «помогала предвидеть», причем все с большей точностью: 1825 год вообще не был «потрясением» шире Петербурга, готовность народа к агитации 1870-х годов была преувеличена, а дальше разрыв между прогнозом и реальностью был не так уж велик.

— *Русская идея, народное эсхатологическое сознание и их революционное применение?*

— Не могу ответить, плохо знаю материал. *Уход от земного зла* и *борьба с земным злом*, конечно, противоположны, но на практике легко могут смыкаться и питать друг друга. «Русская идея»,

понимаемая как опыт истории России, мне мало известна (расколом я не занимался), а «русскую идею» как грядущее призвание России я пойму только тогда, когда мне объяснят, например, что такое «шведская идея» или «этрусская идея».

Насколько я знаю, национальную идею изобрел Гегель: восточная идея — тезис, греко-римская — антитезис, германская — синтез, а все остальные народы к мировой идее отношения не имеют и остаются историческим хламом. России было обидно чувствовать себя хламом, и она стала утверждать, то ли что она тоже причастна к романо-германской идее (западники), то ли что она имеет свою собственную идею, и не хуже других (славянофилы). Кто верит, что в мировой истории есть народы избранные и народы мусорные, пусть думает над этим, а для меня это неприемлемо.

— *Личность и свобода в русской классике и революционных теориях?*

— Тоже вопрос не для меня. Личность я понимаю только как точку пересечения общественных отношений, а свободу — как осознанную необходимость: рабский ошейник, на котором написано (неважно, чужое или мое собственное) имя. К счастью, машина взаимодействия этих необходимостей разлажена, и временами в образовавшийся зазор может вместиться чей-то личный выбор — т. е. такой, в котором случайно перевесит та или другая детерминация.

— Место культуры в русском обществе прежде и сейчас? Стремление русских писателей выйти за пределы литературы, борьба с «художественностью»?

— Культура — это все, что есть в обществе: и что человек ест, и что человек думает. Нет «места культуры» в обществе — есть *структура* культуры общества. Конечно, некоторые предпочитают называть «культурой» только те явления, которые нравятся лично им, а остальные именовать «бескультурьем» или «одичанием», но это несерьезно. Описать структуру современной нашей культуры со всеми ее пластами, идущими от митрополита Иллариона и от вчерашних газет, я не берусь. Современный ее кризис — в том, что ответ на вопрос «что делать, чтобы лучше жить?», предлагавшийся во многих подновлениях коммунистической идеологией, оказался несостоятельным и оставил после себя идейный вакуум, в котором сейчас кипит хаос. Конечно, литературу тоже втягивает туда, и ей хочется сбросить «художественность» и стать публицистикой. Каждому Гоголю когда-нибудь кажется, что «Выбранными местами из переписки» он нужнее людям, чем «Мертвыми душами». Об этом самоубийственно хорошо написал Пастернак в дневнике доктора Живаго. Но потомки обычно считают иначе.

— Существует ли «светская линия» в русской культуре? если да, то что она собой представляет и в чьем творчестве выражена?

— Не понимаю противопоставления. Чему противополагается «светская линия»? — «церковной линии»? Тогда на «светской линии» будет стоять вся русская литература без исключения во главе с Львом Толстым, официально отлученным от церкви. А на церковной останутся какие-нибудь «Кавалеры Золотой звезды» церковного производства, которых я, к сожалению, не читал. Или, может быть, «религиозной линии»? Тогда придется вспомнить, что еще Чехов, кажется, говорил, что между верой и безверием — широкое поле, и это только русские люди умеют видеть лишь два его края и не видеть середины. Давайте тогда составим карту, где каждый писатель располагается в этом пространстве, — исходя, разумеется, не из деклараций писателей, а из их художественных текстов. Придется работать с очень малыми величинами: так, было подсчитано, что строки, из которых явствует всего-навсего, что автор «Песни о Роланде» — христианин, составляют всего около 10 %. Такое исследование будет очень полезно — не меньше, чем, например, о том, насколько какой писатель чувствителен к оттенкам цвета, вкуса и запаха.

— Была ли русская литература XIX века преддверием церкви — или заменителем церкви, «альтернативной религией», на смену которой могли прийти иные «религии» — коммунизм, национализм, социалистический реализм?

— Насколько я понимаю, «религией» в кавычках здесь называется идеология, то есть комплекс идей, не самостоятельно выработанных человеком, а навязанных ему традицией или окружением. Таких идеологий может быть очень много, и сосуществовать в одном сознании они могут очень причудливо (например, национализм с христианством или с коммунизмом). Единство вкуса — это тоже идеология, объединяющая общество; единство вкуса к русской классике — в том числе. К счастью, эта идеология менее догматизирована, чем другие, и от нас не требуют обязательно считать Гоголя выше Лермонтова или наоборот. Поэтому надеюсь, что господствующей эта идеология не станет, а вспомогательной она может оказаться при любой другой: двадцать лет назад мы чтили Пушкина за оду «Вольность», а теперь, кажется, чтим за «Отцы пустынники и жены непорочны» и за «Тень Баркова». Предшественницей социалистического реализма русская классика была во всяком случае: писателям полагалось учиться у Льва Толстого, а не у Андрея Белого.

— Как показывает опыт, наша культура расцветает под гнетом, а при самой малой свободе исчезает, оставляя дешевую масскультуру, запоздалое подражание Западу и заумное эстетство. Может быть, отечественная культура несовместима со свободой?

— А когда у нас была «самая малая свобода»? при Екатерине II? при «Войне и мире»? после 1905 года? Неужели можно сказать, что культура в эти годы «исчезала»? Кроме того, годы «расцвета» культуры и «формирования» культуры — разные: Пушкин был сформирован общественным подъемом 1812—1815 годов, а писал под общественным гнетом 1820—1830-х. Далее, в Европе, где (считается) свободы было больше, в 1860—1870-х годах царило эпигонство и та же масскультура, а эксперименты импрессионистов и Сезанна встречались насмешками. При всяком режиме существует искусство серийное и искусство лабораторное, загнанное в угол, где и вырабатываются новые формы; а «новые», в понимании нашего века, и есть «хорошие», «настоящие».

— Можно ли считать, что миновало время идеологизированной, учительной литературы, и она сможет наконец стать «чисто художественной»?

— Это зависит не от писателей, а от читателей: захотят ли они учиться, то есть усваивать го-

товую идеологию в готовом виде. Если общественные условия давят, то учительной литературой может оказаться и поваренная книга. И наоборот, когда отойдут современные политические проблемы, то Солженицына будут читать не как ответ на животрепещущие вопросы, а как чистое искусство. «Георгики» Вергилия были агитационной поэмой за подъем римского сельского хозяйства, а кто сейчас, читая их, помнит об этом?

— *Индивидуализм (гражданские права, парламентское устройство), коллективизм и соборность — какой путь лучше для России и каково место литературы в жизни общества в каждом случае?*

— Вопрос не для меня. Прав человека я за собой не чувствую, кроме права умирать с голоду. Коллективизм и соборность для меня одно и то же — между сталинским съездом Советов и Никейским собором под председательством императора Константина для меня нет разницы. Я существую только по попущению общества и могу быть уничтожен в любой момент за то, что я не совершенно такой, какой я ему нужен. (Именно общества, а не государства: такие же жесткие требования ко мне предъявляет и дом, и рабочий коллектив.) Я хотел бы, чтобы мне позволяли существовать, хотя бы пока я не мешаю существовать другим. Но я мешаю: тем, что ем чей-то кусок хлеба, тем, что заставляю кого-то

видеть свое лицо... Впрочем, это уже не ответ на поставленный вопрос.

Примечание филологическое

У слова *интеллигенция* и смежных с ним есть своя история. Очень упрощенно говоря, его значение прошло три этапа. Сперва оно означало «люди с умом» (этимологически), потом «люди с совестью» (их-то мы обычно и подразумеваем в дискуссиях), потом просто «очень хорошие люди».

Слово *intelligentia* принадлежит еще классической, цицероновской латыни; оно значило в ней «понимание», «способность к пониманию». За две тысячи лет оно поменяло в европейской латыни много оттенков, но сохранило общий смысл. В русский язык оно вошло именно в этом смысле. В. Виноградов в «Истории слов» (М., 1994, с. 227—229) напоминает примеры: у Тредиаковского это «разумность», у масонов это высшее, бессмертное состояние человека как умного существа, у Огарева иронически упоминается «какой-то субъект с гигантской интеллигенцией», а Тургенев в 1871 году даже писал: «собака стала... интеллигентнее, впечатлительнее и сообразительнее, ее кругозор расширился». Позднее определение Даля (1881): «Интеллигенция — разумная, образованная, умственно развитая часть жителей». Еще Б. И. Ярхо

(1889—1942) во введении к «Методологии точного литературоведения» держится этого интеллектуалистического понимания: «Наука проистекает из потребности в знании, и цель ее (основная и первичная) есть удовлетворение этой потребности... Вышеозначенная потребность свойственна человеку так же, как потребность в размножении рода: не удовлетворивши ее, человек физически не погибает, но страдает порой чрезвычайно интенсивно. Потребностью этой люди одарены в разной мере (так же, как, напр., сексуальным темпераментом), и этой мерой измеряется степень «интеллигентности». Человек интеллигентный не есть субъект, много знающий, а только обладающий жаждой знания выше средней нормы». (Писаны эти слова в 1936 году в сибирской ссылке.)

Наступает советское время, культура распространяется не вглубь, а вширь, образованность мельчает. По иным причинам, но то же самое происходит и в эмиграции: вспомним горькую реплику Ходасевича, что скоро придется организовывать «общество людей, читавших «Анну Каренину» (Г. П. Федотов вполне серьезно предлагал подобные меры для искусственного создания «новой русской элиты», которая затем распространила бы свое культурное влияние на все общество). Казалось бы, тут-то и время, чтобы интеллектуальный элемент понятия *интеллигенция* повысился в цене.

Случилось обратное: чем дальше, тем больше подчеркивается, что образованность и интеллигентность — вещи разные, что можно много знать и не быть интеллигентом, и наоборот. Окончательный удар по этому интеллектуалистическому понятию интеллигенции нанес А. И. Солженицын, придумав слово без промаха: «образованщина». Конечно, для порядка образованщина противопоставлялась истинной образованности. Но было ясно, что главный критерий здесь уже не умственный, а нравственный: коллаборационист, который несет свои умственные способности на службу советской власти, — он не настоящий интеллигент.

Теперь зайдем с другой стороны — от производного слова *интеллигентный*. При Тургеневе, как мы видели, оно означало лишь умственные качества — хотя бы собаки. Для Даля оно еще не существует, около 1890 года оно ощущается как новомодный варваризм. Слово интеллигентный — производное от *интеллигенция* (сперва как «умственные способности», потом как «совокупность их носителей»). Близкое слово *интеллигентский* — производное от более позднего слова *интеллигент*. Как *интеллигенция*, так и *интеллигент* — слова, с самого начала не лишенные отрицательных оттенков значения: *интеллигенция* (в отличие от «людей образованных») охотно понималась как «сборище недоучек», дилетантов, примеры тому (в том числе из Щедрина) подобраны у Виноградова. Но на про-

изводные прилагательные эти отрицательные оттенки переходят в разной степени.

Слово *интеллигентский* и Ушаков, и академический словарь определяют как «свойственный интеллигенту» с отрицательным оттенком: «о свойствах старой, буржуазной интеллигенции» с ее «безволием, колебаниями, сомнениями». Слово *интеллигентный* и Ушаков, и академический словарь определяют как «присущий интеллигенту, интеллигенции» с положительным оттенком — «образованный, культурный». *Культурный*, в свою очередь, здесь явно означает не только носителя «просвещенности, образованности, начитанности» (определение слова *культура* в академическом словаре), но и «обладающий определенными навыками поведения в обществе, воспитанный» (одно из определений этого слова в том же словаре).

Антитезой к слову *интеллигентный* в современном языковом сознании будет не столько «невежда», сколько «невежа» (а к слову *интеллигент* — не «мещанин», а «хам»). Каждый из нас ощущает разницу, например, между *интеллигентная* внешность, *интеллигентное* поведение и *интеллигентская* внешность, *интеллигентское* поведение. При втором прилагательном как бы присутствует подозрение, что на самом-то деле эта внешность и это поведение напускные, а при первом прилагательном подлинные.

Мне запомнился характерный случай. Лет десять назад критик Андрей Левкин напечатал в журнале «Родник» статью под заглавием, которое должно было быть вызывающим: «Почему я не интеллигент». В. П. Григорьев, лингвист, сказал по этому поводу: «А вот написать: «Почему я не интеллигентен» — у него не хватило смелости».

Попутно посмотрим еще на одну группу мелькнувших перед нами синонимов: *просвещенность, образованность, воспитанность, культурность.* Какие из них более положительно и менее положительно окрашены?

Воспитанность — это то, что впитано человеком с младенческого возраста, «с молоком матери»: оно усвоено прочнее и глубже всего, однако по содержанию оно наиболее просто, наиболее доступно малому ребенку: «не сморкаться в руку» заведомо входит в понятие воспитанности, а «знать, что дважды два — четыре» — заведомо не входит. *Образованность* относится к человеку, уже сформировавшемуся, форма его совершенствуется, корректируется внешней обработкой, приобретает требуемый образ («бражать камень — выделывать вещь из сырья», — пишет Даль) — образ, подчас довольно сложный, но всегда благоприобретенный трудом. *Просвещенность* — тоже не врожденное, а благоприобретенное качество, свет, пришедший со стороны, просквозивший и преобразовавший су-

щество человека; здесь речь идет не о внешних, а о внутренних проявлениях образа человека, поэтому слово *просвещенный* ощущается как более возвышенное, духовное, чем *образованный*. (Слово «просвещенцы» менее обидно, чем «образованцы».) Наконец, *культурность*, слово самое широкое, явным образом покрывает все три предыдущие и лишь в зависимости от контекста усиливает то или другое из их значений.

Самым молодым и активным в этой группе слов является *культурность*, самым старым и постепенно выходящим из употребления — *просвещенность*. Понятие о просвещенности как свойстве более внутреннем, чем образованность, и более высоком, чем простая воспитанность, исчезает из языка. Освободившуюся нишу и занимает новое значение слова *интеллигентность*: человек интеллигентный несет в себе больше хороших качеств, чем только воспитанный, и несет их глубже, чем только образованный.

Таким образом, понятие интеллигенции в русском языке, в русском сознании любопытным образом эволюционирует: сперва это «служба ума», потом «служба совести» и, наконец, если можно так сказать, «служба воспитанности». Это может показаться вырождением, но это не так. Службу воспитанности тоже не нужно недооценивать: у нее благородные предки. Для того, что мы называем

интеллигентностью, культурностью, в XVIII веке синонимом была светскость, в средние века — *вежество, куртуазия*, в древности — *humanitas*, причем определялась эта *humanitas* на первый взгляд наивно, а по сути очень глубоко: во-первых, это разум, а во-вторых, умение держать себя в обществе. Особенность человека — разумность в отношении к природе и *humanitas* в отношении к обществу, т. е. осознанная готовность заботиться не только о себе, но и о других. На *humanitas*, на искусстве достойного общения между равными держится все общество. Не случайно потом на основе этого (в конечном счете бытового) понятия развилось такое возвышенное понятие, как *гуманизм*.

И, заметим, именно эта черта общительности все больше выступает на первый план в развитии русского понятия *интеллигенция, интеллигентный*. Интеллигенция в первоначальном смысле слова, как «служба ума», была обращена ко всему миру, живому и неживому, — ко всему, что могло в нем потребовать вмешательства разума. Интеллигентность в теперешнем смысле слова, как «служба воспитанности», «служба общительности», проявляется только в отношениях между людьми, причем между людьми, сознающими себя равными (*ближними*, говоря по-старинному). Когда я говорю «Мой начальник — человек интеллигентный», это понимается однозначно: мой начальник умеет

видеть во мне не только подчиненного, но и такого же человека, как он сам.

А интеллигенция в промежуточном смысле слова, «служба совести»? Она проявляет себя не в отношениях с природой и не в отношениях с равными, а в отношениях с высшими и низшими — с «властью» и «народом». Причем оба эти понятия — и власть, и народ — достаточно расплывчаты и неопределенны. Именно в этом смысле интеллигенция является специфическим явлением русской жизни нового времени. Оно настолько специфично, что западные языки не имеют для него названия и в случае нужды транслитерируют русское: *intelligentsia.* Для интеллигенции как службы ума существуют устоявшиеся слова: *intellectuals, les intellectuels*. Для интеллигентности как умения уважительно обращаться друг с другом в обществе существуют синонимы столь многочисленные, что они даже не стали терминами. Для «службы совести» — нет. (Что такое совесть и что такое честь? И то и другое определяет выбор поступка, но честь — с мыслью «что подумали бы обо мне отцы», совесть — с мыслью «что подумали бы обо мне дети».) Более того, когда европейские *les intellectuels* вошли недавно в русский язык как *интеллектуалы*, то слово это сразу приобрело отчетливо отрицательный оттенок: «рафинированный интеллектуал», «высоколобые интеллектуалы».

Почему? Потому что в этом значении есть только ум и нет совести, западный интеллектуал — это специалист умственного труда, и только, а русский интеллигент традиционного образца притязает на нечто большее.

Примечание историческое

Было два определения интеллигенции: европейское *intelligentsia* — «слой общества, воспитанный в расчете на участие в управлении обществом, но за отсутствием вакансий оставшийся со своим образованием не у дел», и советское — «прослойка общества, обслуживающая господствующий класс». Первое, западное, перекликается как раз с русским ощущением, что интеллигенция прежде всего оппозиционна: когда тебе не дают места, на которое ты рассчитывал, ты, естественно, начинаешь дуться. Второе, наоборот, перекликается с европейским ощущением, что интеллигенция (интеллектуалы) — это прежде всего носительница духовных ценностей: так как власть для управления нуждается не только в полицейском, но и в духовном насилии над массами (проповедь, школа, печать), то она с готовностью пользуется пригодными для этого духовными ценностями из арсенала интеллигенции. «Ценность» — не абсолютная величина, это всегда ценность «для кого-

то», в том числе и для власти. Разумеется, не всякая ценность, а с выбором.

В зависимости от того, насколько духовный арсенал интеллигенции отвечает этому выбору, интеллигенция (даже русская) оказывается неоднородна, многослойна, нуждается в уточнении словоупотребления. Можем ли мы назвать интеллигентом Льва Толстого? Чехова? Бердяева? гимназического учителя? инженера? сочинителя бульварных романов? С точки зрения «интеллигенция — носительница духовных ценностей» — безусловно: даже автор «Битвы русских с кабардинцами» делает свое культурное дело, приохочивая полуграмотных к чтению. А с точки зрения «интеллигенция — носитель оппозиционности»? Сразу ясно, что далеко не все работники умственного труда были носителями оппозиционности: вычисляя, кто из них имеет право на звание интеллигенции, нам, видимо, пришлось бы сортировать их, вполне по-советски, на «консервативных», обслуживающих власть, и «прогрессивных», подрывающих ее в меру сил. Интересно, где окажется Чехов?

«Свет и свобода прежде всего», — формулировал Некрасов народное благо; «свет и свобода» были программой первых народников. Видимо, эту формулу придется расчленить: свет обществу могут нести одни, свободу другие, а скрещение и сращение этих задач — специфика русской социально-куль-

турной ситуации, порожденной ускоренным развитием русского общества в последние триста лет.

При этом заметим: «свет» — он всегда привносится со стороны. Специфики России в этом нет. «Свет» вносился к нам болезненно, с кровью: и при Владимире, когда «Путята крестил мечом, а Добрыня огнем», и при Петре, и при Ленине. «Внедрять просвещение с умеренностью, по возможности избегая кровопролития», — эта мрачная щедринская шутка действительно специфична именно для России. Но — пусть менее кроваво — культура привносилась со стороны, и привносилась именно сверху, не только в России, но и везде. Петровская Россия чувствовала себя культурной колонией Германии, а Германия — культурной колонией Франции, а двумя веками раньше Франция чувствовала себя колонией ренессансной Италии, а ренессансная Италия — античного Рима, а Рим — завоеванной им Греции. Как потом это нововоспринятое просвещение проникало сверху вниз, это уже было делом кнута или пряника: Петр I загонял недорослей в навигацкие школы силой и штрафами, а Александр II загонял мужиков в церковно-приходские школы, суля грамотным укороченный срок солдатской службы.

В России передача заемной культуры от верхов к низам в средние века осуществлялась духовным сословием, в XVIII веке дворянским сослови-

ем, но мы не называем интеллигенцией ни духовенство, ни дворянство, потому что оба сословия занимались этим неизбежным просветительством лишь между делом, между службой Богу или государю. Понятие интеллигенции появляется с буржуазной эпохой — с приходом в культуру разночинцев (не обязательно поповичей), т. е. выходцев из тех сословий, которые им самим и предстоит просвещать. Психологические корни «долга интеллигенции перед народом» именно здесь: если Чехов, сын таганрогского лавочника, смог кончить гимназию и университет, он чувствует себя обязанным постараться, чтобы следующее поколение сыновей лавочников могло быстрее и легче почувствовать себя полноценными людьми, нежели он. Если и они будут вести себя, как он, то постепенно просвещение и чувство человеческого достоинства распространится на весь народ — по трезвой чеховской прикидке, лет через двести. Оппозиция здесь ни при чем, и Чехов спокойно сотрудничает в «Новом времени». А если чеховские двухсотлетние сроки окажутся нереальны, то это потому, что России все время приходится торопиться, нагоняя Запад, — приходится двигаться прыжками через ступеньку, на каждом прыжке рискуя сорваться в революцию.

Русская интеллигенция была трансплантацией: западным интеллектуальством, пересаженным

на русскую казарменную почву. Специфику русской интеллигенции породила специфика русской государственной власти. В отсталой России власть была нерасчлененной и аморфной, она требовала не специалистов-интеллектуалов, а универсалов: при Петре — таких людей, как Татищев или Нартов, при большевиках — таких комиссаров, которых легко перебрасывали из ЧК в НКПС, в промежутках — николаевских и александровских генералов, которых назначали командовать финансами, и никто не удивлялся. Зеркалом такой русской власти и оказалась русская оппозиция на все руки, роль которой пришлось взять на себя интеллигенции. Повесть Б. Вахтина «Одна абсолютно счастливая деревня» начинается приблизительно так (цитирую по памяти): «Когда государыня Елизавета Петровна отменила на Руси смертную казнь и тем положила начало русской интеллигенции...» То есть, когда оппозиция государственной власти перестала физически уничтожаться и стала, худо ли, хорошо ли, скапливаться и искать себе в обществе бассейн поудобнее для такого скопления. Таким бассейном и оказался тот просвещенный и полупросвещенный слой общества, из которого потом сложилась интеллигенция как специфически русское явление. Оно могло бы и не стать таким специфическим, если бы в русской социаль-

ной мелиорации была надежная система дренажа, оберегающая бассейн от переполнения, а его окрестности — от революционного потопа. Но об этом ни Елизавета Петровна, ни ее преемники по разным причинам не позаботились.

Западная государственная машина, двухпартийный парламент с узаконенной оппозицией, дошла до России только в 1905 году. До этого всякое участие образованного слоя общества в общественной жизни обречено было быть не интеллектуальским (практическим), а интеллигентским (критическим) взглядом из-за ограды. Критический взгляд из-за ограды — ситуация развращающая: критическое отношение к действительности грозит стать самоцелью. Анекдот о гимназисте, который по привычке смотрит столь же критически на карту звездного неба и возвращает ее с поправками, — естественное порождение русских исторических условий. Парламентская машина на Западе удобна тем, что роль оппозиции поочередно примеряет на себя каждая партия. В России, где власть была монопольна, оппозиционность поневоле стала постоянной ролью одного и того же общественного слоя — чем-то вроде искусства для искусства. Даже если открывалась возможность сотрудничества с властью, то казалось, что практической пользы в этом меньше, чем идейного греха — поступательства своими принципами.

Может быть, нервничанье интеллигенции о своем отрыве от народа было прикрытием стыда за свое недотягивание до Запада? Интеллигенции вообще не повезло, ее появление совпало с буржуазной эпохой национализмов, и широта кругозора давалась ей с трудом. А русской интеллигенции приходилось преодолевать столько местных особенностей, что она до сих пор не чувствует себя в западном интернационале…

«Долг интеллигенции перед народом» своеобразно сочетался с ненавистью интеллигенции к мещанству. Говоря по-современному, цель жизни и цель всякой морали в том, чтобы каждый человек выжил как существо и все человечество выжило как вид. Интеллигенция ощущает себя теми, кто профессионально заботится, чтобы человечество выжило как вид. Противопоставляет она себя всем остальным людям — тем, кто заботится о том, чтобы выжить самому. Этих последних в XIX веке обычно называли «мещане» и относились к ним с высочайшим презрением, особенно поэты. Это была часть того самоумиления, которому интеллигенция была подвержена с самого начала. Такое отношение несправедливо: собственно, именно эти мещане являются теми людьми, заботу о благе которых берет на себя интеллигенция. Когда в басне Менения Агриппы живот, руки и ноги относятся с презрением к голове, это высмеивается; когда го-

лова относится с презрением к животу, рукам и ногам, это тоже достойно осмеяния, однако об этом никто не написал басню.

Отстраненная от участия во власти и неудовлетворенная повседневной практической работой, интеллигенция сосредоточивается на работе теоретической — на выработке национального самосознания. Самосознание — что это такое? Гегелевское значение, где самосознание было равнозначно реальному существованию, видимо, уже забыто. Остается самосознание как осознание своего отличия от кого-то другого. В каких масштабах? Каждый человек, самый невежественный, не спутает себя со своим соседом. В каждом хватает самосознания, чтобы дать отчет о принадлежности к такой-то семье, профессии, селу, волости. (Какое самосознание было у Платона Каратаева?) Наконец, при достаточной широте кругозора, — о принадлежности ко всему обществу, в котором он живет. Можно говорить о национальном самосознании, христианском самосознании, общечеловеческом самосознании. Складывание интеллигенции совпало со складыванием национальностей и национализмов, поэтому «Интеллигенция — носитель национального самосознания» мы слышим часто, а «носитель христианского самосознания» (отменяющего нации) — почти никогда. А в нынешнем мире, расколотом и экологически опасном,

давно уже главным стало «общечеловеческое самосознание».

Когда западные интеллектуалы берут на себя заботу по самосознанию общества, то они вырабатывают науку социологию. Когда русские интеллигенты сосредоточиваются на том же самом, они создают идеал и символ веры. В чем разница между интеллектуальским и интеллигентским выражением самосознания общества? Первое стремится смотреть извне системы (сколько возможно), второе — переживать изнутри системы. Первое рискует превратиться в игру мнимой объективностью, второе — замкнуться на самоанализе и самоумилении своей «правдой». В отношениях с природой важна истина, в отношениях с обществом — правда. Одно может мешать другому, чаще — второе первому. При этом сбивающая правда может быть не только революционной («классовая наука», всем нам памятная), но и религиозной (отношение церкви к системе Коперника). «Самосознание» себя и своего общества как бы противополагается «сознанию» мира природы. Пока борьба с природой и познание природы были важнее, чем борьба за совершенствование общества, в усилиях интеллигенции не было нужды. Сейчас, когда мир, природа, экология снова становится главной заботой человечества, должно ли измениться место и назначение интеллигенции? Что случится раньше: обще-

ственный ли конфликт передовых стран с третьим миром (для осмысления которого нужны интеллигенты-общественники) или экологический конфликт с природой (для понимания которого нужны интеллектуалы-специалисты)?

«Широта кругозора», — сказали мы. Просвещение — абсолютно необходимая предпосылка интеллигентности. Сократ говорил: «Если кто знает, что такое добродетель, то он и поступает добродетельно; а если он поступает иначе, из корысти ли, из страха ли, то он просто недостаточно знает, что такое добродетель». Культивировать совесть, нравственность, не опирающуюся на разум, а движущую человеком непроизвольно — опасное стремление. Что такое нравственность? Умение различать, что такое хорошо и что такое плохо. Но для кого хорошо и для кого плохо? Здесь моральному инстинкту легко ошибиться. Даже если абстрагироваться до предела и сказать: «Хорошо все то, что помогает сохранить жизнь, во-первых, человеку как существу и, во-вторых, человечеству как виду», то и здесь между этими целями «во-первых» и «во-вторых» возможны столкновения; в точках таких столкновений и разыгрываются обычно все сюжеты литературных и жизненных трагедий. Интеллигенции следует помнить об этимологии собственного названия.

Русское общество медленно и с трудом, но все же демократизируется. Отношения к вышестоящим и нижестоящим, к власти и народу отступают на второй план перед отношениями с равными. Не нужно бороться за правду, достаточно говорить правду. Не нужно убеждать хорошо работать, а нужно показывать пример хорошей работы на своем месте. Это уже не интеллигентское, это интеллектуальское поведение. Мы видели, как критерий классической эпохи, совесть, уступает место двум другим, старому и новому: с одной стороны, это просвещенность, с другой стороны, это интеллигентность как умение чувствовать в ближнем равного и относиться к нему с уважением. Лишь бы понятие *интеллигент* не самоотождествилось, расплываясь, с понятием «просто хороший человек». (Почему уже неудобно сказать «я интеллигент»? Потому что это все равно, что сказать «я хороший человек».) Самоумиление опасно.

2000 г.

О «ДВУХКУЛЬТУРЬЕ» И РОЛИ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

(из статьи «Русская интеллигенция как отводок европейской культуры»)

Всякое общество расслоено, двухкультурно. Культура низов обеспечивает его стабильность, прочность, замкнутость; культура верхов — динамичность, устремление к заданному извне идеалу, интернациональность. Конечно, такое разделение происходит в силу того, что высшие сословия состоятельнее и имеют больше возможностей общаться с соседями или читать старинные книги. Россия не исключительный и даже не крайний случай такого двухкультурья: во всяком случае, в ней никогда не доходило до того, чтобы полтораста лет правящее сословие говорило на одном языке, а управляемое — на другом, как в Англии после нормандского завоевания, а на материке — после германских поселений.

...Но двухкультурье всякого общества — не только разница между динамичной верхушкой и медлительной массой. Есть двухкультурье и другого рода — между духовной культурой и мирской. В Европе оно начинается тогда, когда гречес-

кие философы различили два образа жизни: созерцательный, для просветленного меньшинства (bios theoreticos) и деятельный, для большинства (bios practicos). В средние века продолжением первого стала христианская система ценностей, продолжением второго — светская (рыцарская, потом буржуазная) система ценностей. Между собой они были непримиримы: рыцарская этика требовала убивать, бюргерская — лихоимствовать, христианская запрещала и то, и другое. Как они устраивали компромисс (духовное сословие отмаливает грехи светских сословий), на этом сейчас останавливаться не будем. Когда за средними веками наступила секуляризация культуры, то роль духовного сословия, напоминающего людям о вечном, взяла на себя интеллигенция — сперва в лице ренессансных гуманистов, потом в лице салонных философов Просвещения. Их прямыми наследниками и стали западное интеллектуальство и русская интеллигенция — как хранители духовных ценностей, «bios theoreticos». Напоминаем, никакой оппозиционности здесь не было. И философы, и клирики, и гуманисты, и энциклопедисты, вполне по советской формулировке, обслуживали властвующий или идущий к власти класс: довольных своим положением оправдывали, а недовольных отвлекали. Греческие философы состояли советниками при царях и вельможах (или стремились к этому,

или — если не удавалось — делали вид, что выше этого); средневековое духовенство образовывало самостоятельное сословие, имущее и допущенное в Генеральные штаты; гуманисты и энциклопедисты состояли при меценатствующих князьях и вельможах. Материально они были зависимы от своих покровителей, духовно смотрели на них свысока — ситуация достаточно обычная.

Эту преемственность интеллигентской «bios theoreticos», традиционализма духовной культуры, хорошо почувствовал в 1921 году О. Мандельштам. В статье «Слово и культура» он писал: «Государство ныне проявляет к культуре своеобразное отношение, которое лучше всего передает термин терпимость... Намечается и органический тип новых взаимоотношений, связывающих государство с культурой наподобие того, как удельные князья были связаны с монастырями. Князья держали монастыри для совета. Этим все сказано. Внеположность государства по отношению к культурным ценностям ставит его в полную зависимость от культуры...» и т. д. Мы видим: Мандельштам (в юности близкий к эсерам) не гордится, а тяготится интеллегентской оппозиционностью и считает естественной для интеллигенции только роль хранителя и распорядителя культуры при покровительственной власти — он надеется, что оппозиционная обязанность интеллигенции наконец-то ушла в

прошлое вместе с царским режимом. Разочарование наступило уже через год…

Русской интеллигенции… пришлось взять на себя роль оппозиции на все руки. Соответственно и формы этой оппозиции были нерасчлененными и аморфными: литература, публицистика и философия сплывались в какой-то первоначальный синкретизм. Впрочем, в предромантической и романтической Европе тоже можно найти тому множество примеров…

Как об особенности русской классической литературы иногда говорят о ее учительной традиции, но так ли уж она специфична? Можно ли сказать, что борьба Добра и Зла ярче продемонстрирована в Евгении Онегине, чем в Жюльене Сореле? Можно ли сказать, что проблемы социальные для русской литературы менее характерны и обсуждаются, как правило, в контексте более общей, философской, проблематики? Это в русской литературе XIX века, с которой каждый критик спрашивал в первую очередь ответы на социальные вопросы! Если был роман, по которому прямо учились жить, то это «Что делать?» Чернышевского. А кто из мировых писателей был безоговорочным идеалом Чернышевского? Лессинг — самый законченный, самый беспримесный деятель европейского Просвещения. Как русская интеллигенция была западным интеллектуальством, пересаженным на

русский социальный суглинок, так русский реализм был западным просветительством, пришедшим в Россию с опозданием на сто лет и реализованным в отдельно взятой нищей стране.

Сейчас критика любит горевать, что русская литература перестает быть учителем и вождем, становится, как на Западе, беллетристикой, чисто художественным явлением. Между тем, это естественный результат развития, дифференциации культуры: публицистика — публицистике, эстетика — эстетике. Точно так же, вероятно, кончается и эпоха русской интеллигенции образца XIX века, которая одна работала и за искусство, и за философию, и за политику.

1998

ЗОЛОТАЯ РАМКА
(интервью для «Независимой газеты»)

— *Михаил Леонович, вы занимаетесь историей культуры; заставляет ли это как-нибудь по-особенному ощущать наш сегодняшний день?*

— Чем больше занимаешься историей, тем больше видишь, сколько у человечества было возможностей погибнуть, а все-таки оно не погибло, — значит, есть надежда. Сейчас говорят, что такой глобальной угрозы, как атомная война, не было ни в какие эпохи. Но забывают, что была, например, чума XIV века, от которой вымерла половина Европы, а могла бы вымереть и другая половина, так что принципиальной разницы между прежними и нынешними опасностями нет. Разве что прежние опасности грозили человечеству от природы, а новые — от общества и из того, что этим обществом сделано.

— *Может быть, это и придает современной ситуации трагизм? А можно ли сказать, когда произошла смена старых угроз новыми?*

— На пороге нового времени — в XVIII веке. До этого главной заботой человечества было выживание на Земле в борьбе с природой. Выживание, во-

первых, каждого человека в отдельности, а во-вторых, всего человечества как биологического вида. (Иногда эти две цели вступали в конфликт, и тогда вспыхивали трагические ситуации.) А так как в одиночку человек противостоять природе не мог, то он организовывался против нее в общество. В XVIII в. стало ясно, что в борьбе с природой человек победил. (Сперва казалось, что даже победил в одиночку: был создан образ Робинзона Крузо.) Потом обнаружилось, что же это значит: перестав быть рабом природы, человек стал рабом общества, только и всего. С тех пор главной заботой человечества стала борьба за выживание личности в обществе. Так до сегодняших дней — и, вероятно, дальше, пока опасность экологической катастрофы не заставит опять сосредоточиться на наших отношениях с природой.

— *Угроза, исходящая от природы, угроза, исходящая от человека. Были два из семи чудес света: Колосс Родосский и храм Артемиды. Первый рухнул от землетрясения, а второй был сожжен Геростратом. Более знаменитым стал второй. Мне видится здесь символ.*

— Возможно. Решать, что символично и что нет, — это дело нашего вкуса. Но заметьте, что вечным памятником оказывается не столько храм, сколько поступок его разрушителя. Сохранись этот храм невредимым — и нам, наверное, показалось бы, что он ниже своей славы.

— А Герострат действительно существовал?

— Во всяком случае, молва о нем пошла вскоре после пожара храма, а существовал ли он, и если да, то каким был на самом деле,— разве это кому-нибудь важно, кроме историков. Вымыслы бывают действенней фактов. Был такой историк — Р. Ю. Виппер, умер в 1950-х годах, почти ста лет. Занимался в числе прочего ранним христианством. В историчность Христа не верил, хотя в начале века это было не модно. Был крепким позитивистом, но неверие свое объяснял совершенно по-эстетски. Он говорил: если признать историчности Христа, то над Евангелиями нужно производить те же операции, что и над всякими историческими источниками: отбрасывать недостоверное, сомневаться в нелогическом, вышелушивать историческое зерно. И оно оказывается в конце концов таким скудным, что становится жаль отшелушенного. Другое дело, если подходить к образу Христа как к художественному созданию... Достаточно вспомнить путь в Эммаус!

В наше время сомневаться в историчности Христа уже не приходится, но психология Виппера мне очень понятна: Мне вот точно так же трудно и неприятно признавать историчность Александра Македонского.

— Театр легенды на исторической сцене? Императору Нерону очень хотелось остаться в ис-

тории артистом. Государи и артисты никак не могли решить: кто из них делает историю?

— Государи тоже бывают разные. Нерон, в отличие от Александра, ничего конструктивного в истории не создал. Но он оставил свой образ, который стал историко-культурной ценностью на много европейских столетий. А это не менее важно, чем построить Колизей или завоевать Азию.

— *Нерон остался в истории злодеем, а хотел — артистом. Как складываются исторические репутации? Неужели случайно?*

— Случайность. Или что то же самое, стечение обстоятельств. Я не склонен к культу личности в истории, но вижу: темп литературного процесса зависит от того, родится ли вовремя достаточно талантливый писатель, чтобы предложенное им решение очередных литературных задач оказалось убедительным. Новая русская поэзия началась у нас с Ломоносова; если бы не случайность его рождения, она началась бы поколением позже. Начавшись при Ломоносове, она переняла у Европы ямб, которым писали в Германии при Готшеде; а начнись она поколением позже, она переняла бы свободный стих, которым писали в Германии при молодом Гёте. И тогда нынешним нашим авангардистам не пришлось бы тратить силы, убеждая староверов, что свободный стих вовсе не противопоказан духу русской поэзии.

— И величие Пушкина — тоже случайность?

— Если бы у нас не случился Пушкин, то на его месте в нашем сознании стоял бы, скорее всего, Жуковский. И стоял бы с полным правом, и мы видели бы в нем много достоинств, которых сейчас небрежно не замечаем. Если бы Шекспир не написал «Гамлета», то на эту роль всеевропейского культурного символа годилась бы любая другая елизаветинская трагедия. Для того чтобы такое-то произведение стало памятником культуры, основой для нагрузки философскими осмыслениями, нужно одно: отрезать его золотой рамкой от исторического контекста. Вот это периодически и делает историко-литературный вкус, перенося рамку с одного объекта на другой. Это называется; феномен эстетической выделенности. Когда мы смотрим на такого «Гамлета», изолированного от своей эпохи барокко и ее проблем, то мы вольны вычитывать в нем ответы на наши собственные проблемы — ведь каждому времени свои вопросы кажутся вечными. Поэтому Гамлет для нас интересен не столько тем, что вкладывал в него Шекспир со своими зрителями, сколько тем, что напридумывали вокруг этого образа следующие эпохи. Подножия таких сколь угодно случайно выхваченных памятников — очень ценное складочное место для отложений сменяющихся культур. Поэтому мы такими ценностями и

дорожим, и избегаем сбрасывать их с «пароходов современности».

— И все же время от времени историко-литературный вкус переносит выделяющую рамку своего внимания с одного объекта на другой. Почему?

— От накопления исторического опыта. XIX веку мир казался простым и ясным, а все трудности — преодоленными или преодолеваемыми прогрессом; а XX век убедился, что это совсем не так. Поэтому XIX век ценил Ренессанс, а XX век научился ценить барокко: сто лет назад о Джоне Донне знали только узкие специалисты, а сейчас он считается в Англии вторым поэтом после Шекспира.

Был позднеримский поэт-публицист Клавдиан, незаслуженно забытый; последнее исследование о нем начинается приблизительно таким вступлением: «Наши деды не могли поверить, что можно убедительно и убежденно называть черное белым и белое черным; мы же с опытом пропаганды и контрпропаганды нашего времени отлично знаем, что можно. Поэтому Клавдиан как исторический источник раскрывается перед нами совершенно заново...» — и т. д.

— Получается, что в культуре одновременно действуют две системы ценностей: историку важно то, что было на самом деле, а обычному носителю культуры — то, как это запомнилось человечеству. Первый старается перекинуть как

можно больше связей через золотую рамку исторического события, а второй старается их оборвать. Что нужнее сейчас, в сегодняшнем нашем культурном кризисе?

— Золотая рамка учит людей понимать друг друга: когда мы говорим «Нерон», то это одним коротким словом рисует весьма сложный образ, одинаковый для всех, кто воспитан на европейской культуре. А снятие золотой рамки учит людей понимать самих себя: задумываться, почему именно в таком виде этот образ оказался нам нужным и был выделен нами из потока истории. Поток истории — это предмет для науки, а не для искусства, для изучения причин, а не для оценки результатов; в нем каждое новое событие возникает из стечения предыдущих, оно уникально и ни для каких сравнений и оценок непригодно. А выкристаллизовавшиеся из него образы соотносятся уже не с породившими их причинами, а с нашими в них потребностями: веди себя не как Нерон, а как Перикл, пиши стихи не как Жуковский, а как Пушкин. Нам не потому нравится Пушкин, что он был великий поэт, но мы потому считаем Пушкина великим поэтом, что он нам нравится. А почему он нам нравится (или не нравится, хотя мы и боимся себе в этом признаться), — чтобы ответить на этот вопрос, важнее заглянуть в самих себя, чем в Пушкина.

— *Мы живем среди разорванных традиций, наши корни, выкорчеваны из прошлого. Что нуж-*

но сделать, чтобы восстановить разрушенное чувство истории? Что бы вы сделали, если бы вам предложили составить общеобразовательный минимум исторических знаний — хотя бы для школьного курса?

— Прежде всего, разделил бы те две вещи, о которых только что сказал: историю как науку и историю как фонд общекультурных ценностей. История как наука изучает общие закономерности, которые можно вылущить из сходных рядов исторических событий, например, последовательность этапов революций и контрреволюций. Таких закономерностей не очень много, их хватило бы на школьный курс одного года. Это область не столько фактов, сколько обобщений. А история как фонд ценностей — это тот самый запасник ярких образов, в котором мы находим и Нерона, и Перикла, и Герострата. Это его имел в виду Пушкин, говоря об Онегине: «...дней минувших анекдоты от Ромула до наших дней хранил он в памяти своей». Это значит: экзамена по истории Онегин бы не сдал и на вопрос, в каком веке жил Нерон, мог бы не дать верного ответа, Но не спутал бы Нерона не только с Периклом, а даже с Тиберием, хотя тот тоже был император и тоже злодей, только другого склада. Это относится не только к античной, но и к родной истории: когда Пушкин говорит о Петре I, что «был от буйного стрельца пред ним отличен Долгору-

кий», он предполагает, что в сознании читателя сразу встанут хрестоматийные анекдоты об этом правдолюбце; а кто из нас их помнит? Владение этим фондом исторических (и неисторических, литературных, мифологических) образов и делает человека культурным, хотя бы в онегинском смысле.

— А как бы вы сами определили, что такое культурность? И чем она отличается, скажем, от образованности?

— Позвольте от этого вопроса уклониться: он слишком сложен. Лучше я скажу, что имели в виду под культурностью греки и римляне. Это были две вещи, отличающие человека от животного: во-первых, разум, а во-вторых, умение вести себя в обществе, то есть считаться со своими ближними. Вот это умение считаться со своими ближними — в самом широком смысле слова! — вероятно, и отличает культурного человека от образованного.

— Есть определение: «Опыт — это путеводитель по той дороге, которой нам уже не ходить». То приобщение к истории, о котором вы говорите, — может ли оно помочь нам выйти из нынешнего социального и культурного кризиса? Или «уроков истории» вообще не существует?

— Существуют закономерности исторического процесса, выводимые из фактов. Но закономерность — это еще не урок. Урок — то, чему люди согласны учиться. А они обычно выбирают из ис-

тории только то, что подкрепляет их в уже выбранном ими поведении. Чем больше мы готовы «принять» в истории — как бы это ни было нам неприятно, — тем вернее выбран нами наш путь. Я кончал школу в последние сталинские годы. Всей ложности преподносимой нам картины мира тогда еще не представлял никто из нас, но сомнения возникали в каждом, и в каждом по-своему. Во мне они начинались, когда я задумывался: почему советские книги по истории так упрощают и уплощают прошлое? Могут ли быть правы те, кто боится истории, боится полноты прошлого? Сейчас об истории думают, пишут и спорят очень иного, но, читая, видишь: исторические события по-прежнему делятся для спорящих прежде всего на приятные и неприятные. Одни отворачиваются от памяти о ЧК, а другие — о Кровавом воскресенье. При таком отношении к истории ждать от нее уроков не приходится. Кто готов принять ответственность за все, что было с нами до нашего рождения — и за красный террор, и за белый, и за Салтычиху, и за Пугачева, — тот и может надеяться чему-то у истории научиться. Много ли нас таких?

1991 г.

ВСЕЧЕЛОВЕЧНОСТЬ И НАЦИОНАЛЬНОСТЬ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

(из выступления на конференции)

Из двух слов заглавной проблемы — «всечеловечность и национальность» — мне кажется, заслуживает обсуждения только первое. Да и оно чрезмерно размашисто: как русской культуре быть всечеловеческой, объяв собою и китайскую, и индийскую, и индейскую, об этом, по-моему, рано думать. Хорошо, если мы задумаемся о том, как русской культуре быть европейской — или, культурологически выражаясь, европейско-христианской: все-таки к европейско-христианской цивилизации мы принадлежим тысячу лет и два года, что недавно было даже официально признано. И вряд ли будет хорошо, если мы начнем думать о том, как русской культуре быть русской: известно, что когда кто-нибудь слишком печется о том, как сохранить свою индивидуальность, то обычно эта индивидуальность бывает такая, что ее не стоит и сохранять. Можно ли представить себе Пушкина, который задумывается, как ему быть русским писателем? или Льва Толстого? или Чернышевского? Нарочно называю имена писателей, как мож-

но более непохожих друг на друга. Задумывались другие — те, о которых у Щедрина мимоходом сказано (прошу прощения, что цитирую по памяти): «русский человек в Европе чувствует непонятную неловкость: то ли будто он что-то украл, то ли будто у него что-то украли», думаю, что это у Щедрина относится не только к героям «За рубежом», но и, например, к автору «Зимних заметок о летних впечатлениях». Когда это эмоциональное содержание перерастает в идейное, то обычно появляются выражения вроде «русская душа» или «русская идея». «Русская душа» («загадочная русская душа»), кажется, уже достаточно себя скомпрометировала: для ее определения не раз предлагались те или иные списки добродетелей, но ни в одной из этих добродетелей даже у патриотов не поворачивался язык отказать французской, китайской или какой угодно иной нации. Зато «русская идея» в последние годы опять начинает упоминаться все чаще; однако ни одного внятного определения ее я не видел. (Может быть, пора и ее называть «загадочной русской идеей»?) И даже если увижу, то вряд ли обрадуюсь. Всякая индивидуальность — личная ли, национальная ли — это ограниченность того или другого рода: из общечеловеческого достояния я неспособен вместить того-то, а мой сосед — того-то, поэтому каждый из нас индивидуален. Такую

ограниченность, наверное, лучше преодолевать по мере сил, нежели умиляться на нее.

Как преодолевать? Всякое совершенствование начинается с понимания. Индивидуальность человеческого сознания, индивидуальность народного сознания есть напластования памяти о событиях — биографических или исторических. События эти (увиденное зрелище, прочитанная книга, одоление природных условий, поражение на войне) нимало не уникальны, но сочетание и последовательность оставляемых ими следов, конечно, неповторимы. Знать собственную историю — культурную историю прежде всего — это первейшая необходимость. «Собственную» — в широком смысле слова: в историю русской культуры входят не только Феодосий Печерский и Малюта Скуратов, но и Гейне и Ницше. Чтобы понимать Пушкина, важнее знать Вольтера, чем протопопа Аввакума. Опыт своей истории — это склад прецедентов, которые полезны при встрече с будущим, а сопоставление своего опыта с чужими опытами — это именно то, что помогает понять себя и стать больше себя: стать европейцем с надеждой стать человеком всемирной культуры. Ни один человек, конечно, не вместит всемирную культуру в целом, а только в выборке. Но чтобы эта выборка делалась в соответствии с индивидуальным душевным складом человека, а не навязывалась ему привыч-

ками отцов и дедов, национальными и прочими традициями — к этому ведут все тенденции современного культурного развития.

Ось, на которую нанизывается эта историческая память, складывающаяся в национальное сознание, — это язык. Может быть, я преувеличиваю, потому что сам — словесник; может быть, зрелище построек или звуки песен способны и без словесного комментария говорить потомку не меньше. Но мы, словесники, обязаны владеть хотя бы несколькими срезами своего языка в его истории и приобщать к этому в той или иной степени всех, кто чувствует в этом потребность. Пока нам до этого далеко: когда писатель или переводчик занимается стилизацией архаики, обычно получаются ужасающие диссонансы, и чаще (как кажется) невольные, чем вольные. Предмет, который называется (или назывался) «развитие речи», кончается у нас в младших классах школы, между тем как в античной культуре, например, он был основой и начального, и среднего, и высшего образования. Всё остальное группировалось вокруг текстов, которые изучались в школе, служило их пониманию и складывалось в тот энциклопедический минимум культурного фонда, который был общим в той или иной степени для всех и объединял общество не меньше, чем религия или политическая власть. Такого канона текстов, обросших комментариями:

языковыми, реальными, историческими, психологическими, эстетическими, идейными, — у нас нет. А через такой комментарий легче заглянуть в собственное прошлое, чем через любой учебник и сколь угодно талантливое научно-популярное пособие. Все знают комментарий Ю. М. Лотмана к «Евгению Онегину», мало кто знает комментарий Антиоха Кантемира к собственным и горациевым сатирам; с виду они очень непохожи, но цель у них одна, и это та самая цель поддержания доступа к культурному наследию, о которой приходится заботиться и нам.

Вместо графы «национальность» я ввел бы в паспорта и анкеты графу «родной язык» (кажется, когда-то так и было). Если человек сможет вписать туда не один родной язык, а два или три — прекрасно. Мы страдаем из-за культурного разобщения внутри нашей страны и из-за культурного отъединения от Европы и мира — болезненного следа «железного занавеса». Горький парадокс, что наиболее слита с Европой оказалась русская эмиграция — или, как теперь предпочитают деликатно выражаться, «русское зарубежье». Оно — форпост русской культуры в Европе? Я бы предпочел видеть в нем форпост Европы в русской культуре. Не всё в эмигрантской литературе способно вынести эту миссию; и, конечно, по нашу сторону границы тоже есть достаточно культурных сил, способных

служить культурной интеграции. Чем скорее они сольются, тем лучше.

Национализм — это детская болезнь в истории народа. Малые народы бывшей российской империи в недолгий промежуток между тем, как Ленин ослабил петлю на их шее и как Сталин вновь начал ее затягивать, успели — хотя бы некоторые — окрепнуть и экономически, и политически, и культурно. Естественно, что это вылилось волной национального самодовольства. Русский народ давно миновал эту стадию национального самосознания (или я обольщаюсь?) — но болезни заразительны, и ему захотелось впасть в детство, в такое же упоение своей самостоятельностью и самобытностью.

Апостол Павел говорил: «Нет ни эллина ни иудея», а Маркс говорил: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь»; но слова апостола были забыты официально, а слова Маркса — неофициально. До каких трагических событий довел страну этот самотек, все мы знаем и чувствуем. Кому, как не русскому народу, подать пример обратного движения — к обретению себя через отречение от себя? Россия была колониальной империей, и мы знаем, кто из народов был в ней угнетателем и кто угнетенными. Не будем притворяться, будто мы потомки только просветителей: миссионеров, учителей, врачей — и не имеем никакого отношения

к разорителям: завоевателям, чиновникам, купцам. На нас — вина, искупить которую — наш нравственный долг; если не всякий просвещенный русский человек ее чувствует — это горько и странно. Только этим чувством и может определяться взаимодействие русской культуры с культурами других республик. Здесь задача та же, что и во взаимодействии ее с Европой, — интеграция. Однако решать ее труднее, потому что русскому человеку в наши дни раздобыть грамматику и словарь марийского, якутского или даже армянского языка куда труднее, чем испанского или китайского. Такую ситуацию я могу назвать лишь хорошо обдуманным преступлением. Но это уже выходит за пределы нашей дискуссии.

А как же «престиж и достоинство русской культуры»? Думаю, что если мы будем делать русскую культуру ради престижа и достоинства, то ничего хорошего не сделаем. Будем людьми, и нас будут уважать. И если наша русская культура чего-то стоит, то отпечаток ее будет на всем, что мы будем делать как европейцы и как жители земного шара.

2002 г.

ДОРОГИ КУЛЬТУРЫ

(интервью для журнала «Вопросы философии»)

— *Если взглянуть на то общество, которое сформировалось у нас после Октябрьской революции и просуществовало семь десятилетий, как на особый тип культуры, каким образом Вы могли бы его описать?*

— Прежде всего, главная и самая очевидная черта — формализованное, конституированное сверху управление всеми (по возможности) формами культуры, от экономики до моды. Что правильно и что неправильно, определяется однозначно. Все, что не разрешено, — запрещено. Все, что диктует правящее сословие, — объективно; все остальное — субъективно и подлежит цензуре. (Это смысл недавнего президентского предложения о приостановке Закона о печати; ближайшая аналогия в дореволюционной культуре — «Проект о введении единомыслия в России» Козьмы Пруткова).

Наиболее знакомый мне аналог в истории европейской культуры — средневековый религиозный тоталитаризм. Христианская идеология точно так же стремилась определять и направлять все без

исключения элементы средневековой духовной и материальной культуры. Конечно, на практике это и там не удалось до конца. Лет пятнадцать назад мне предложили в одиночку написать энциклопедию литературоведческих терминов. Я задумался: стиховедение и стилистика, например, были мне знакомы, но что мог бы я написать о таких терминах, как «партийность» или «народность»? Я подумал о такой, приблизительно, формулировке: «Партийность — последовательное выражение (в литературном произведении) системы идей, не самостоятельно выработанной автором, а заимствованной со стороны, например «коммунистическая партийность», «христианская», «исламская» и пр. Издание не состоялось.

Когда усложнение общественной жизни потребовало большей дифференциации труда, почва для религиозного тоталитаризма исчезла, наступила реформационная и ренессансная секуляризация культуры. В Россию она пришла при Петре I. Сферы религиозной и светской культуры были разделены (с ущербом для первой). А так как светской культуре в России приходилось развиваться сверхускоренно, то ведущим в ней выступило политическое, государственное начало. Марксизм унаследовал традиции религиозного тоталитаризма, а русская обстановка его применения — традиции государственного тоталитаризма. Так сложилась советс-

кая культура. Этому соответствовала реанимация рабовладельческих и крепостнических отношений в нашем режиме — насильственное упрощение общественной жизни. Когда насилие не смогло больше сдерживать исторического движения к усложнению, наступил кризис, в котором мы сейчас и живем. Он аналогичен всеевропейскому кризису на рубеже между средневековьем и новым временем.

— *Можно ли считать «социалистическую культуру» культурой в полном смысле слова?*

— Культура — понятие не оценочное. Не может быть культуры полной или неполной. Культура — это все, что люди делают, говорят и думают. Если смотреть на культуру с точки зрения смены классов, экономически господствующих в обществе (а такой взгляд столь же допустим, сколь и любые другие), то приходится говорить о смене культур рабовладельческой, феодальной, буржуазной и пролетарской (какие слои общества реально захватывали власть от лица буржуазии при фашизме или от лица пролетариата при социализме — дело второстепенное). Все эти понятия равноправны. Слово «социалистический» только сбивает терминологию. Кстати, так же сбита терминология в паре понятий «критический реализм — социалистический реализм». Реальна не эта пара, а две другие: «буржуазный реализм — пролетарский реализм» и «крити-

ческий реализм — апологетический реализм». Последнее понятие кажется мне особенно полезным для понимания всей нашей культуры, а не только недавнего ее прошлого.

Ни одна из культур неоднородна, и «социалистическая» в том числе. В каждой сосуществуют те, кто читает Бальмонта, и те, кто читает «Битву русских с кабардинцами». В историю литературы, искусства, науки обычно попадают только первые, хотя их — меньшинство. Это очень искажает картину — и прежде всего картину наших представлений о нас теперешних. Социологи говорят, что треть нашего населения вообще не имеет в доме книг, треть — имеет считанные, случайные (главным образом, учебные) и только последняя треть — более, чем по сотне книг. Кто у нас, думая о культуре, думает об этом молчащем большинстве? Переводная литература составляет немалую часть (какую?) нашего чтения; литература XIX века еще читается, к счастью, не только в школе и не только из-под палки; но кто, рисуя в уме культурный облик нашего общества, не забывает в него включить и эти части? «Социалистическая» культура так же сложна и многомерна, как любая другая, независимо от того, нравится она нам или не нравится.

— Каково место «соцкультуры» среди других культур в историческом процессе: была ли она неизбежна и каков ее смысл для человечества?

— Культурные ценности вырабатывает применительно к потребностям своего времени творческое меньшинство (не обязательно элитарное!); они распространяются, усваиваясь новыми и новыми слоями общества. Культурная периферия может жить прошлым веком, а культурный центр — будущим. Приобщение рабочих и крестьян к традиционной культуре и выработка ими новых ее форм — явление неизбежное. Но в каждой стране оно проходит по-своему. Культурных центров, по-разному откликающихся на одни и те же запросы времени, бывает много, и периферии их пересекаются: Китай лежит на периферии европейской культуры, а Европа — китайской. Элитарная культура — на периферии массовой, и наоборот. В этом переплетении находит свое место и наша культура — неповторимая вполне, но имеющая сходство со многими другими. Каков ее смысл? Об этом может сказать тот, кто знает, в чем цель эволюции человечества, если таковая есть.

— Ценности дореволюционной культуры России — прошлое или будущее?

— Смотря какие ценности. Вечных ценностей нет — есть вереница временных ценностей, из которых каждое время делает свой отбор и, чтобы отличать их от остальных, именует отобранные ценности «вечными». Они ценны своей полезностью для двух взаимосвязанных целей: выживания каж-

дого отдельного человека и выживания всего рода человеческого. Большую часть своей истории люди, пытаясь выжить, для одоления природы сплачивались в общество. Ценилось то, что помогало одолеть природу и встроиться в общество. Переломным был XVIII век: человек уже победил природу и еще не осознал, что стал рабом общества… Два последних века стали борьбой человека за освобождение от общества и против им же вызванного экологического кризиса. Теперь цениться стало то, что помогает сохранить природу и отстоять личность от общества. Так меняются самые фундаментальные ценности. При этом важнейшее происходит ниже уровня сознания: практическая польза, уходя в подсознание, становится нравственностью и эстетическим вкусом. Из ценностей XIX века идеал демократии, например, может выстоять до тех пор, пока натиск экологического кризиса не заставит человечество вновь сплотиться перед закатом истории, так же как на ее заре. А идеал семьи рухнет тотчас, как окажется, что школа может готовить детей лучше, чем отец и мать. Так домашнее хлебопечение кончилось, когда оказалось, что пекарни делают это лучше.

— *А можно ли отчасти вернуть прошлое? Ну хотя бы с помощью тех перепечаток дореволюционной литературы, которые наводнили сейчас книжный рынок?*

— Я думаю, нельзя. Филолог знает: влезть в мир Пушкина невозможно не потому, что нельзя прочитать все, что читал Пушкин (это трудно, но достижимо), а потому, что нельзя выбросить из головы все то, чего Пушкин не читал. Историк знает: нет ничего более жалкого, чем исторические романы (за редким исключением), потому что вообразить психологию человека столетней или тысячелетней давности труднее, чем вообразить психологию Каштанки или Белолобого.

И зачем? Возвращенное прошлое не избавит нас от будущего. Времена подъема ищут идеал «золотого века» впереди, времена спада — позади. Обитатели села Горюхина тоже полагали, что было время, когда люди работали мало, а жили припеваючи, и пастухи стерегли стадо в сапогах. Но это лишь потому, что «люди никогда не довольны настоящим и, по опыту имея мало надежды на будущее, украшают невозвратимое минувшее время цветами своего воображения».

Репринты у нас сейчас — явление культуры элитарной, а не массовой. Трудно предвидеть, что на репринты будет опираться самая массовая литература — детская. Конечно, очень скоро в репринтах вслед за Валишевским издадут и Чарскую. И это будет очень хорошо, потому что вакантное место Чарской в послереволюционной литературе осталось незанятым. Но никакую «связь времен» это

не скрепит. Мне кажется, важнее подумать сейчас о том, чтобы дать детям в пересказах мировую классику. Дети читают пересказы мифов больше, чем взрослые — «Илиаду»… Я даже думаю, что «Клариса» Ричардсона в хорошем пересказе сможет заменить для девочек Чарскую, а кто из взрослых смог бы читать «Кларису»?

«Спуск» из мира лучших взрослых умов в детское чтение — обычный путь классики. Если мы хотим, чтобы наш народ знал классику (а это и есть «связь времен»), надо облегчить этот путь. Конечно, здесь нужны большие таланты, но где они не нужны?

— *В XX веке мы шли в другую сторону, нежели культуры Запада. Есть ли надежда, что нам удастся это наверстать и, главное, достаточно быстро?*

— Я полагаю, основания для такой надежды есть. Опыт ускоренного развития переживался многими культурами много раз. Россия его переживала и после петровских, и после александровских реформ. Идеальные варианты ускоренного развития сумела продемонстрировать Япония — и после шестидесятых годов прошлого века, и после сороковых нынешнего, но у нас об этом помнят, кажется, только узкие специалисты. Важно, однако, не забывать две вещи. Во-первых, разные области культуры наверстывают отставание различными

темпами. Историки напоминают: после петровских реформ Россия догнала Европу по военной силе очень быстро, по литературе и искусству — сравнительно быстро, а по экономическому и политическому строю — весьма медленно. Можно ли это регулировать? Вероятно, можно: Япония в XIX веке тем и взяла, что стала не только перенимать у Европы модели пушек, но и переводить Эпиктета и Марка Аврелия. Во-вторых, когда культура заходит в тупик, ей приходится сделать несколько шагов назад до той развилки, где она пошла не по тому пути. Таким тупиком была античная городская цивилизация, и, чтобы перейти от нее к средневековой сельской цивилизации, понадобился попятный ход в несколько веков. Это были очень тяжелые века, оставшиеся в истории под названием «темных». Видимо, и нам предстоят такие «темные» — десятилетия или годы, не знаю.

Механизмы развития культуры всюду одинаковы, и принимать к сведению чужой опыт необходимо. Но для этого нужен рациональный подход — здравый ум и твердая память. Нынешнее же половодье иррационализма — психологически объяснимое, — может, мне кажется, этому только помешать. Но здесь я уже совсем не судья.

1992 г.

РУССКАЯ КУЛЬТУРА ВО ВСЕ ВРЕМЕНА
(из ответов на анкету журнала «Искусство Ленинграда»)

— В чем национальная самобытность русской культуры и как ее сохранить?

— Национальная самобытность — это все равно что человеческий характер: она не дается от Бога раз и навсегда, а складывается в напластовании биографических случайностей, у каждого человека и народа своих и неповторимых. Она динамична: национальная самобытность московского и петербургского периодов русской культуры неодинакова. Она не замкнута: в ее наслоениях есть пласты и Византии, и Востока, и Запада. Для Петербурга — прежде всего, разумеется, Запада.

Петербург — это европейский город, талантом строителей и обитателей вживленный в восточноевропейские природные и людские условия. При этом Запад выступает не только в классических шедеврах, но и в массовой безликости, и это тоже хорошо: Невский такая же прекрасная (и, может быть, более живая) часть Ленинграда, как Адмиралтейство. Я не думаю, что нужно специально стараться сохранять национальную самобытность чего

бы то ни стоило: о чем приходится стараться, то, видимо, и не заслуживает сохранения. Не стесняться (как и прежде) брать новое у Европы и стараться (как и прежде) вживлять его в уже сложившуюся культурную обстановку — вот главное; последнее очень трудно, я знаю. И при этом не бояться эклектики: архитектура — искусство долговечное и не может быть не эклектичным. Постройки начала XX века на Невском резали глаз современникам, а сейчас воспринимаются как органичная его часть. То же будет и с современными вставками в архитектурный пейзаж города — вероятно, это почувствуется (или уже чувствуется?), когда будет в очередной раз ветшать и обновляться тот же Невский. Напоминаю: когда персы разорили афинские храмы, то афиняне при всем их благочестии не стали их восстанавливать, а построили новые, и только этому мы обязаны Парфеноном. Национальная самобытность сохраниться сама собой!

— *Каковы роль и место русской культуры в мировой?*

— Русская культура есть часть мировой культуры и европейской субкультуры. Без взаимодействия и взаимовлияния со своими соседями она просто не могла бы существовать — в лучшем случае стала бы застылым вневременным реликтом, на который приятно поглядеть туристу, но в кото-

ром невозможно жить человеку. В настоящее время ей трудно, потому что приходится делать очередной скачок через ступеньку, чтобы равноправно общаться с Западом — последствия до сих пор недоликвидированного «железного занавеса». Утешает то, что русская культура уже триста лет догоняет Запад именно таким ускоренным бегом через ступеньку: одно наше поколение делает дела двух западных (причем, обычно предельно непохожих: так Ломоносов осваивал сразу барокко и классицизм, а Брюсов — парнас и символизм). А «роль и место» русской культуры в мировой определяется для каждого периода в конечном счете случайностью: где родится больше талантов музыкальных, где философских, где литературных и т. д. В конце XIX века Россия была в первых рядах европейской прозы, а в начале XX века — живописи и театра. К каким «первым рядам» наша культура сейчас подступила всего ближе, судить не берусь. Но хочется напомнить: во-первых, рельеф европейской культуры состоит не только из Монбланов: культурные низины тоже входят в пейзаж, делая его более живым и привлекательным, а во-вторых, в культуре происходят периодические переоценки ценностей, и то, чему мы ужасаемся сегодня, послезавтра может стать предметом умиления. Презираемым ныне передвижникам кто-то уже предсказывал недурную судьбу малых голландцев.

— В чем своеобразие петербургских культурных традиций, существуют ли они в наше время?

— За годы советской власти русская культура потеряла живую связь с традицией. Поэтому перенимать современные достижения мировой культуры мы можем не хуже прежнего, но акклиматизировать их умеем гораздо хуже. Окраинные высотные кварталы строятся, кажется, неплохо, но придавать им индивидуальный облик удается редко, и всякий раз это праздник, а не норма. Из традиции никоим образом не следует делать предмета культа: смотреть нужно вперед, а не назад. Но, потеряв традицию, мы рискуем использовать обломки прошлого не по назначению и тем создавать уродства. При Сталине из культурной традиции были вырезаны несколько образцов, покрыты хрестоматийным глянцем и объявлены безоговорочным примером для подражания — хотя, если взглянуть в историческом контексте, иные из них были прямо взаимоисключающими. Это во всех искусствах. Какова специфика этих вивисекций для духовной жизни Ленинграда, не решаюсь судить: я все-таки не ленинградец…

— Какими должны быть пути и способы культурного возрождения Ленинграда?

— Опять не чувствую себя вправе судить, не будучи ленинградцем. Боюсь лишь одной опасности. Ленинград — город такого богатого культурно-

го прошлого, что оно грозит сковать поиски культурного будущего. Поэтому хотелось бы помнить, что в традиции ленинградской культуры были не только Захаров и Воронихин, но и обереуты, и октябрьские празднества 1918 года. Я филолог, мне ближе литературные примеры. Бродский сумел соединить европейский постмодернизм с безукоризненным ленинградскими (петербургскими) культурными приметами; за москвича его принять невозможно.

Насколько я знаю современную ленинградскую молодую (весьма относительно молодую) поэзию, она настойчиво и успешно ищет новое, но «особый отпечаток» Ленинграда для меня на ней не всегда заметен. Очень надеюсь, что с другими искусствами дело обстоит не хуже. Труднее всего — потому что громоздче всего, — конечно, с архитектурой: ей, видимо, предстоит создавать эклектически обновляемый город вокруг заветного треугольника петербургского классического центра, и совсем новый город в кольце окраин. Как? Я не знаю. Но ведь это не специфически ленинградские проблемы, так же обновляются сейчас и Париж, и Рим. Поэтому, наверное, ответ на вопрос «какими должны быть пути и способы» будет таким: оставаться окном в Европу.

1991 г.

О «РУССКОЙ ИДЕЕ»
(ответы на анкету газеты «Вехи»)

— Вы сказали как-то, что не знаете никакой «русской идеи». Вы это серьезно или просто пытались отвязаться от собеседника?

— Серьезно. Была анкета журнала «Знамя», на один из вопросов пришлось ответить: «русская идея» как опыт истории России мне недостаточно известна, а «русскую идею» в смысле грядущего призвания России я пойму только тогда, когда мне объяснят, что такое, например, «шведская» или «этрусская» идея. Конечно, опыт прошлого сказывается на будущем. Сейчас убиваются, что пассивность русских трудящихся — результат семидесяти лет советской власти; а сто лет назад Ключевский видел вокруг ту же пассивность и полагал, что это результат трехсот лет крепостного права; а когда заводили крепостное право (шучу!), говорили, что это результат трехсот лет татарского ига. А французские и немецкие публицисты прошлых веков жаловались на пассивность своих народов и тоже находили ей убедительные причины. Насчет же шведской и этрусской идеи мне так никто ниче-

го и не объяснил, поэтому вселенская миссия России остается (в моем представлении) делом веры, а о делах веры лучше не любопытствовать.

— *Ну ладно, пусть не будет идеи. Но есть известное утверждение: «Поэт в России — больше, чем поэт». Многие годы оно служило руководством к действию. Но вот грянули перемены — и все в растерянности перед так называемым «кризисом культуры». Одни говорят, что, мол, наступает эра хамства, а другие возражают: «Наконец-то поэт в России становится собственно поэтом». А вы как думаете?*

— Когда поэт больше, чем поэт, а священник больше, чем священник, — это просто знак неразвитости и нерасчлененности общественных отношений. В средневековой Европе духовенство было единственным грамотным сословием, поэтому ему приходилось заниматься и экономикой, и политикой, и изящной литературой. А когда у него всем этим умениям научились дворянство и мещанство, то потребовали, чтобы духовенство предоставило эти светские заботы им, а само занялось своей узкой специальностью. Из этого получилась Реформация. Современникам было очень страшно, но никакой культурной катастрофы не последовало. То же и у нас.

Ну а хамство — это дело не эстетическое и не политическое, а моральное. Его у нас хватало и в

дворянскую, и в боярскую эру, советская здесь ни при чем.

— Мы себя воспринимаем как «нацию Пушкина», а зарубежные читатели считают нас «нацией Достоевского». Почему и кто прав?

— Потому что Европа, в которой все духовные специальности давно разделились, смотрит на нас, как в прошлое, с ностальгической тоской и даже с завистью: вот мир, где каждому беллетристу была открыта дорога в пророки. А Пушкин — какой в нем интерес для европейца? Мысли — знакомые, а слов не оценить, не зная языка. Мне кажется, однако, что мы и сами (по той же причине) предпочитаем сейчас воспринимать себя как «нацию Достоевского», а Пушкина поминаем лишь по привычке. С. С. Аверинцев говорил мне: «Вы думаете Лосев любит Пушкина? Пушкин для него слишком прост. Вот Вячеслав Иванов, «Мы два грозой сожженные ствола» — это да!»

— С классиками вообще сложно. В кабинете литературы одной очень передовой школы я видел портреты тех, кого там на сегодня числят классиками: вместо Горького — Солженицын, вместо Маяковского — Галич, вместо Алексея Толстого — Замятин, а разные Гумилевы да Северянины, как люди аполитичные, в классики по-прежнему не попали. А вот вы, будь на месте составителей школьных программ, кого бы туда включили?

— «Классик» и «знаменитый писатель» — вещи разные. Классики — это те, кого сменяющиеся поколения перечитывают, перетолковывают и по этим толкованиям судят друг о друге. Каждая эпоха предлагала свое толкование «Гамлета», каждая вычитывала в нем ответы на свои собственные проблемы, даже не задумываясь о том, как это понимал Шекспир. Поэтому «Гамлет» и стал меркой, удобной для соизмерения культур разных веков. (С таким же успехом эти культурные отложения могли бы скапливаться вокруг какой-нибудь рощи или горы, например Фудзи; но в Европе это почему-то не получилось.) Как мы поясняем школьнику, зачем ему нужно учить древнюю историю? «Вот ты читаешь Солженицына; а он читал Пушкина, и чтобы все понять в Солженицыне, нужно будет тоже читать Пушкина; а у Пушкина то и дело поминаются то Брут, то Периклес, значит, надо знать, кто они такие». Стало быть, писатели современные и недавние вообще не годятся в классики: в спорах о них можно познакомиться только с современниками, но не с предками. А культура — это школа общения именно с предками. Что же касается школьных программ, то пусть их составляют люди более сведущие, чем я.

— *Особое место в литературе занимают авторы русского зарубежья, уже включившиеся в иностранный литературный мир и даже иногда пи-*

щущие на других языках. Отнесем ли мы к русским писателям Набокова или Бродского?

— Отнесем. Римский император Марк Аврелий написал свои стоические размышления по-гречески, потому что это был язык всех философов, и они стали частью греческой литературы, хотя сам он был чистокровный римлянин. Считать Эразма Роттердамского голландским писателем никому не придет в голову (кроме голландцев) — мы его считаем писателем латинского гуманистического интернационала. Набокова и Бродского я про себя определяю: «европейский писатель, пишущий на русском языке». Ну и что? Пушкин тоже был европейский писатель, пишущий на русском языке. А Решетников (которого я очень ценю) — уральский писатель, пишущий на русском языке. А я, с позволения сказать, — замоскворецкий филолог, пишущий на русском языке. Писатель служит языку, а не язык писателю. Я даже сомневаюсь в том, что существует швейцарская или австрийская литература — потому что не существует швейцарского и австрийского языка. Хотя мои товарищи-германисты уверяют, что такая литература есть.

2002 г.

ФИЛОЛОГИЯ КАК НРАВСТВЕННОСТЬ
(дискуссия в журнале «Литературное обозрение»)

Филология — наука понимания. Слово это древнее, но понятие — новое. В современном значении оно возникает в XVI—XVIII веках. Это время, когда складывалась основа мышления современных гуманитарных наук — историзм. Классическая филология началась тогда, когда человек почувствовал историческую дистанцию между собою и предметом своего интереса — античностью. Средневековье тоже знало, любило и ценило античность, но оно представляло ее целиком по собственному образу и подобию: Энея — рыцарем, а Сократа — профессором. Возрождение почувствовало, что здесь что-то не так, что для правильного представления об античности недостаточно привычных образов, а нужны и непривычные знания. Эти знания и стала давать наука филология. А за классической филологией последовали романская, германская, славянская; за филологическим подходом к древности и средневековью — филологический подход к культуре самого недавнего времени; и все это оттого, что с убыстряющимся ходом

истории мы все больше вынуждены признавать близкое по времени далеким по духу.

Признание это дается нелегко. Мышление наше эгоцентрично, в людях других эпох мы легко видим то, что похоже на нас, и неохотно замечаем то, что на нас непохоже. Гуманизм многих веков сходился на том, что человек есть мера всех вещей, но когда он начинал прилагать эту меру к вещам, то оказывалось, что мера эта сделана совсем не по человеку вообще, а то по афинскому гражданину, то по ренессансному аристократу, то по новоевропейскому профессору. Гуманизм многих веков говорил о вечных ценностях, но для каждой эпохи эти вечные ценности оказывались лишь временными ценностями прошлых эпох, урезанными применительно к ценностям собственной эпохи... Вечных ценностей нет, есть только временные, поэтому постигать их непосредственно нельзя (иначе как в порядке самообмана), а можно лишь преодолев историческую дистанцию; и наводить бинокль нашего знания на нужную дистанцию учит нас филология.

Филология приближает к нам прошлое тем, что отдаляет нас от него, — учит видеть то великое несходство, на фоне которого дороже и ценнее самое малое сходство. Рядовой читатель вправе относиться к литературным героям, «как к живым людям»; филолог этого права не имеет, он обязан

разложить такое отношение на составные части — на отношение автора к герою и наше к автору. Говорят, что расстояние между Гаевым и Чеховым можно уловить интуитивно, чутким слухом (я в этом не уверен). Но чтобы уловить расстояние между Чеховым и нами, чуткого слуха уже заведомо недостаточно. Потому что здесь нужно уметь слышать не только Чехова, но и себя — одинаково со стороны и одинаково критически.

Филология трудна не тем, что она требует изучать чужие системы ценностей, а тем, что она велит нам откладывать на время в сторону свою собственную систему ценностей... Когда мы берем в руки книгу классика, то избегаем задавать себе простейший вопрос: для кого она написана? — потому что знаем простейший ответ на него: не для нас. Неизвестно, как Гораций представлял себе тех, кто будет читать его через столетия, но заведомо ясно, что не нас с вами. Есть люди, которым неприятно читать, неприятно даже видеть опубликованными письма Пушкина, Чехова или Маяковского: «ведь они адресованы не мне». Вот такое же ощущение нравственной неловкости, собственной неуместной навязчивости должно быть у филолога, когда он раскрывает «Евгения Онегина», «Вишневый сад» или «Облако в штанах». Искупить эту навязчивость можно только отречением от себя и растворением в своем высоком собеседнике.

Филология начинается с недоверия к слову. Доверяем мы только словам своего личного языка, а слова чуждого языка прежде всего испытываем, точно ли и как соответствуют они нашим. Если мы упускаем это из виду, если мы принимаем презумпцию взаимопонимания между писателем и читателем, мы тешим себя самоуспокоительной выдумкой. Книги отвечают нам не на те вопросы, которые задавал себе писатель, а на те, которые в состоянии задать себе мы, а это часто очень разные вещи. Книги окружают нас, как зеркала, в которых мы видим только собственное отражение; если оно не всюду одинаково, то это потому, что все эти зеркала кривые, каждое по-своему. Филология занимается именно строением этих зеркал — не изображениями в них, а материалом их, формой их и законами словесной оптики, действующими в них. Это позволяет ей долгим окольным путем представить себе и лицо зеркальных дел мастера, и собственное наше лицо — настоящее, неискривленное. Если же смотреть только на изображение («идти по ту сторону слова», как предлагают некоторые), то следует знать заранее, что найдем мы там только самих себя.

За преобладание в филологии спорят лингвистика и литературоведение, причем лингвистика ведет наступательные бои, а литературоведение оборонительные (или, скорее, отвлекающие). Думает-

ся, что это неслучайно. Филология началась с изучения мертвых языков. Все мы знаем, что такое мертвые языки, но редко думаем, что есть еще и мертвые литературы, причем даже на живых языках. Даже читая литературу XIX века, мы вынуждены мысленно переводить ее на язык наших понятий. Язык — в самом широком смысле: лексическом (каждый держал в руках «Словарь языка Пушкина»), стилистическом (такой словарь уже начат для поэзии XX века), образном (на основе частотного тезауруса: такие словари уже есть для нескольких поэтов), идейном (это самая далекая и важная цель, но и к ней сделаны подступы). Только когда мы сможем опираться на подготовительные работы такого рода, мы сможем среди умножающейся массы интерпретаций монолога Гамлета или монолога Гаева выделить хотя бы те, которые возможны для эпохи Шекспира или Чехова. Это не укор остальным интерпретациям, это лишь уточнение рубежа между творчеством писателей и сотворчеством их читателей и исследователей.

И еще одно есть преимущество у лингвистической школы перед литературоведческой. В лингвистике нет оценочного подхода: лингвист различает слова склоняемые и спрягаемые, книжные и просторечные, устарелые и диалектные, но не различает слова хорошие и плохие. Литературовед, наоборот, явно или тайно стремится прежде всего

отделить хорошие произведения от плохих и сосредоточить внимание на хороших. *Филология* значит «любовь к слову»: у литературоведа такая любовь выборочней и пристрастнее. От пристрастной любви страдают и любимцы, и нелюбимые. Как охотно мы воздаем лично Грибоедову и Чехову те почести, которые должны были бы разделить с ними Шаховской и Потапенко! Было сказано, что в картинах Рубенса мы ценим не только его труды, но и труды всех тех бесчисленных художников, которые не вышли в Рубенсы. Помнить об этом — нравственный долг каждого, а филолога — в первую очередь.

Ю. М. Лотман сказал: филология нравственна, потому что учит нас не соблазняться легкими путями мысли. Я бы добавил: нравственны в филологии не только ее путь, но и ее цель — она отучает человека от духовного эгоцентризма. (Вероятно, все искусства учат человека самоутверждаться, а все науки — не заноситься.) Каждая культура строит свое настоящее из кирпичей прошлого, каждая эпоха склонна думать, будто прошлое только о том и заботилось, чтобы именно для нее поставлять кирпичи. Постройки такого рода часто разваливаются: старые кирпичи выдерживают не всякое новое применение. Филология состоит на такой стройке чем-то вроде ОТК, проверяющего правильное использование материала. Филология изучает эгоцентризмы

чужих культур, и это велит ей не поддаваться своему собственному: думать не о том, как создавались будто бы для нас культуры прошлого, а о том, как мы сами должны создавать новую культуру.

Примечание псевдофилософское
(из дискуссии на тему «Философия филологии»)

Прежде всего, мне кажется, что формулировка общей темы парадоксальна. (Может быть, так и нужно.) Филология — это наука. А философия и наука — вещи взаимодополняющие, но несовместимые. Философия — это творчество, а наука — исследование. Цель творчества — преобразовать свой объект, цель исследования — оставить его неприкасаемым. И то и другое, конечно, одинаково недостижимо, но эти недостижимые идеалы диаметрально противоположны.

Философия филологию может только разъедать с тыла. Точно так же, впрочем, как и филология философию. Тот тыловой участок, с которого филология разъедает философию, хорошо известен: это история философии, глубоко филологическая дисциплина. Неслучайно оригинальные философы относятся к истории философии с нарастающей нервностью, потому что на ее фоне любые притязания на оригинальность сразу выцветают. Поэтому естественно, что и философия ищет для себя в

тылу науки такой же надежный плацдарм. Он и называется «философия филологии», «философия астрономии» и т. д., по числу наук. Располагая такими позициями, философия и филология могут сплетаться садомазохистским клубком сколь угодно долго. Очень хорошо — лишь бы на пользу.

Есть предположение, что филология не просто наука, а особенная наука, потому что предполагает некоторое интимное отношение между исследователем и его объектом. Об этом очень хорошо писал С. С. Аверинцев. Я думаю, что это не так. Конечно, интимное отношение между исследователем и его объектом есть всегда: зоолог относится к своим лягушкам и червякам интимнее, чем мы. Вот с такой же интимностью и филолог относится к Данту или Дельвигу, но не более того. Самый повседневный опыт нам говорит, что между мною и самым интимным моим другом лежит бесконечная толща взаимонепонимания; можем ли мы после этого считать, что мы понимаем Пушкина? Говорят, между филологом и его объектом происходит диалог: это значит, один собеседник молчит, а другой сочиняет его ответы на свои вопросы. На каком основании он их сочиняет? — вот в чем должен он дать отчет, если он человек науки.

Филология — это «любовь к слову». Что такое слово? Мертвый знак живых явлений. А явления эти располагаются вокруг слова расходящимися

кругами, включающими и биографию писавшего, и быт, и систему идей эпохи, — все, что входит в понятие «культура». Каждый исследователь выбирает то направление, которое его интересует. Но вначале он должен правильно понять слово: в таком-то написании, в таком-то сочетании, в таком-то жанре (оды или полицейского протокола), в такой-то стилистической традиции это слово с наибольшей вероятностью значит то-то, с меньшей — то-то, с еще меньшей — то-то, и т. д. А эту наибольшую или наименьшую вероятность мы устанавливаем, подсчитав все контексты употребления слова в памятниках данной чужой культуры. С чего начинается дешифровка текстов на мертвых языках? С того, что Шампольон подсчитывает, как часто встречается каждый знак, и в каких сочетаниях, и в каких сочетаниях сочетаний. С этого начинается и филология, поскольку она хочет быть наукой. В этом фундаменте филологических исследований, как мы знаем, сделано пока ничтожно мало. Поэтому жаловаться на «исчерпанность филологической концепции слова» никак нельзя. Жаловаться нужно на то, что практическое развертывание филологической концепции слова еще не начиналось. Когда оно произойдет, тогда мы и увидим, на что способна и на что неспособна филология.

В частности, способна ли филология производить новые смыслы, новое знание, или только уста-

навливать уже существующие смыслы текстов? Ровно в такой же степени, как всякая наука. Планета Нептун существовала и без Леверье, он ее только открыл: было ли это установлением уже существующего или производством нового знания? Семантика пропусков ударения в четырехстопном ямбе Андрея Белого существовала, хотя он сам себе не отдавал в ней отчета; ее открыл Тарановский — было ли это установлением существующего или производством нового? Новое знание и новые смыслы — разные вещи. Новое знание — область исследовательская, этим занимается наука; новые смыслы — область творческая, этим занимается критика. Это критика вычитывает из Шекспира то проблемы нравственные, то проблемы социальные, то проблемы психоаналитические, а то и вовсе выбрасывает его за борт, как Лев Толстой. Наука рядом с нею лишь дает отчет, какие из этих смыслов вычитываются из Шекспира с большей, меньшей и наименьшей вероятностью. Такая охрана памятников старины — тоже нужная вещь. Понятно, при этом критика, как область творческая, работает в задушевном альянсе с философией, а наука держится на дистанции и только следит, чтобы они не применяли неевклидовы методы к таким словесным объектам, для которых достаточно евклидовых.

Творческий деятель стремится к самоутверждению, исследователь — к самоотрицанию. Мне

лично ближе второе: мне кажется, что в самоутверждении нуждается только то, что его не стоит. Творчество необходимо человечеству, но при полной свободе оно просто неинтересно. В материальном творчестве нужное сопротивление материала обеспечивает сама природа, а законы ее формулирует наука естествознание. В духовном творчестве эти рамки для свободы полагает культура, а обычаи ее формулирует наука филология. Диалог между творческим и исследовательским началом в культуре всегда полезен (конечно, как всегда, диалог с предпосылкой полного взаимонепонимания). По-видимому, таков и диалог между философией и филологией. Пусть они занимаются взаимопоеданием, только так, чтобы это не отвлекало их от их основных задач: для творчества — усложнять картину мира, для науки — упрощать ее.

2000 г.

СЛУЖБА — ЭТО НЕ БЛАГОДАТЬ, А ДОЛГ
(интервью для «Учительской газеты»)

— Может ли культура прерваться? И впервые ли в своей истории человечество переживает ощущение забвения традиций, краха культуры?

— Во всяких обществах есть свои культуры — даже у самых нецивилизованных дикарей — и, как свидетельствуют этнографы, в некоторых отношениях не уступающие нашим. Можно говорить о забвении и крахе не традиций и культуры вообще, а привычных традиций и форм культуры. То есть речь идет не об уничтожении культуры («одичании», как пишут пессимисты), а о ее трансформации. А эта трансформация происходит непрерывно. Ни одно культурное поколение не похоже на предыдущее.

Можно говорить о том, что теперь темп этих изменений быстрее, чем в предыдущие времена: раньше пятидесятилетние не понимали двадцатилетних, теперь тридцатилетние не понимают двадцатилетних. Это значит, что нынешняя культура — более сложное и напряженное напластование и сочетание субкультур, и нужно больше внимания, что-

бы поддерживать их мирное сосуществование. В школе, вероятно, это всего ощутимее...

Не нужно думать, что в наше время положение трагичнее, чем когда-либо. Для нынешней молодежи не существует Библии, Эсхила, Баха (список можно продолжить и варьировать до бесконечности), а для Пушкина не существовало русской иконописи и поэзии Франсуа Вийона. Культура прошлого — поле развалин, среди которых каждое поколение выбирает себе камни для новых построек. Хранители же традиций — историки и филологи — нужны, чтобы мысленно восстановить первоначальный вид разрушенных строений и, основываясь на этом, говорить строителям: «Не стоит класть бывший камень фундамента в замок свода и наоборот — вам же неудобнее будет». А требовать, чтобы все общество превратилось в историков и филологов — противоестественно. Мы познаем прошлое только для того, чтобы строить будущее. Я по образованию специалист по античности и знаю, через сколько «темных веков» после того, что мы называем античной культурой, наступает то, что мы называем культурой средневековья. Уверяю вас, что по сравнению с этим нынешние мерки десятилетий — пустяки.

— Преподаватели гуманитарных наук все чаще жалуются на «вымывание» их дисциплин из учеб-

ных программ, на сокращение часов. Есть ли польза от такого предмета, как литература, в наш практичный век утилитарных знаний?

— Литература отвечает человеческой потребности в прекрасном. И наука, и искусство делают одно и то же дело: упорядочивают для человеческого сознания бесконечный (то есть беспорядочный) мир действительности. Только наука при этом обращается к разуму человека, а искусство — к тому неопределимому чувству, которое называется «эстетическим». Волнообразные же колебания предпочтений то «лириков», то «физиков», наверное, так же естественны, как попеременные шаги то правой, то левой ногой.

— *Напомню высказывание Юрия Трифонова: «Дети всегда больше похожи на свое время, чем на своих родителей». Как вы относитесь к этим словам?*

— Совершенно согласен. С оговоркой: родители — тоже принадлежат времени детей, и не в последнюю очередь. Не помню, кто сказал: родители для детей страшны тем, что в них — наследственность, в них и среда. Я бы выразился так: родители ориентируют детей на ценности прошлого, улица — на ценности настоящего, школа — на ценности будущего, в котором предстоит им жить. Пусть преподаватели согласятся, что из этих трех факторов хуже всего делает свое дело школа.

— Сейчас много ведется споров вокруг таких понятий, как образование, культура, интеллигентность. Как, на ваш взгляд, они соотносятся?

— Я боюсь слова «интеллигентность», ибо оно означает качества, свойственные интеллигенции. Когда это слово было создано (в середине XIX века его ввел в обиход литератор Боборыкин), оно означало изгоев, которые получили образование, но не получили поприща для его применения. В наши дни «интеллигенция» — это работники умственного труда, только и всего. Качества у этой интеллигенции — прежней и нынешней — весьма разные. Вот почему я бы предпочел для сравнивания другие понятия — «образованность» и «культурность». «Культурность» — это то, что называлось в древности «гуманитас», в средние века — «вежество», при Евгении Онегине — «светскость». Раскрывать каждое из этих понятий я не берусь, но что имели в виду под словом «гуманитас» греки и римляне, могу напомнить: две вещи, отличающие человека от животного, — во-первых, разум, а во-вторых, умение вести себя в обществе, то есть считаться со своими ближними... Это, вероятно, и отличает культурного человека от образованного.

— Вероятно, спасительная особенность работы «кабинетного ученого» состоит в том, что он может позволить себе уйти из дня сегодняшнего в день минувший, погрузиться в давно ушедшую эпо-

ху. Кажется, Сенека говорил: то, что я не могу изменить, я могу презирать. Не идеал ли это для думающего человека, не желающего мириться с несовершенством и несправедливостью окружающего мира?

— Ни в коем случае! Сенека имел в виду совсем другое. Он хотел сказать то, что и сегодня любой психиатр говорит пациентам: если ты не можешь избавиться от предмета, который тебя раздражает, — перемени отношение к нему и не раздражайся. Кабинетный ученый работает для окружающей жизни так, как я говорил выше: указывая в развалинах прошлого примеры или предостережения для созидаемых вновь построек. Он несет службу связи между прошлым и будущим. А служба — это не благодать, а долг. «Благодать», если угодно, это когда тебе посчастливится соответствовать тем требованиям, которые служба предъявляет к человеку. То есть умение выбрать себе профессию по душе и по плечу — то самое, чему тоже не в последнюю очередь должна учить людей школа.

1990 г.

СТОЛЕТИЕ КАК МЕРА, ИЛИ КЛАССИКА НА ФОНЕ СОВРЕМЕННОСТИ

Понятие «современность» существует только в противопоставлении понятию «несовременность». А «несовременность» бывает двух родов: навязываемая и ненавязываемая. Ненавязываемая несовременность особого имени не имеет, и конфликтов с ней не бывает: она мирно устаревает и забывается. А навязываемая несовременность имеет имя: она называется «классика», и она насаждается в школах для поддержания культурной традиции и культурного единства. Общество знает, что для его сплочения единство вкуса бывает не менее важно, чем, например, единство веры, и заботится о школьной классике культуры, не жалея сил. А дальше все зависит от того, заботится ли оно умело или неуклюже. Иногда результаты бывают обратные: мы знаем, что такую высокоценную часть культуры, как древние языки, у нас в XIX веке насаждали столь усердно, что они стали предметом неискоренимой ненависти.

Таким образом, одно из определений современности таково: современность — это то, чего не про-

ходят в школе, что не задано в отпрепарированном виде, о чем мы знаем непосредственно, чему учит улица. Разумеется, «знаем непосредственно» — это слишком сильно сказано: на самом деле, нечитающие знают о современности с подачи своих знакомых, а читающие — с подачи литературной и художественной критики. Но существенно то, что в школе для классиков все оценки предписаны и обсуждению не подлежат, а за стенами школы для современности допускаются споры и выяснения. Ведь даже в советской журнальной критике допускались дискуссии об оттенках социалистического реализма в очередной новинке. Поэтому суждения о современности дают судящим больше средств для приятного агрессивного самоутверждения, и носители культуры этим дорожат.

По сравнению с этой главной разницей между необсуждаемой классикой и обсуждаемой современностью становится второстепенной разница хронологическая. Когда в Древнем Риме осваивали греческую культуру, то в школе читали Гомера, это был классик, и его принимали к сведению. А вне школы читали Каллимаха, спорили о нем и подражали ему, это была современность, хотя Каллимах уже двести лет как умер. Точно так же и на нашей недавней памяти частью современности были тексты эмигрантских и репрессированных писателей, напечатанные или перепечатанные че-

рез несколько десятилетий после того, как они были сочинены.

Если же сосредоточиться на хронологии, то можно вспомнить: мера ее — столетие. Студентам-историкам на первом курсе говорят: историю мерят столетиями не только от удобства десятичной системы. Сто лет — это три поколения, от деда до внука, то есть время живой памяти: о том, что было сто лет назад, человек еще может услышать от живых свидетелей. Вот в Риме ровно сто лет продолжались непрерывные Пунические и Македонские войны, три поколения отвыкли пахать землю, и начался социальный кризис. Это как Эйдельман мерил время по рукопожатиям поколений или как Витженс начинал книгу о Вяземском словами: «Вяземский родился в последние годы жизни Екатерины II и умер в первые годы жизни В. И. Ленина». За пределами ста лет — абсолютные ценности классики, в пределах ста лет — спорные ценности современности. Конечно, ход времени все больше ускоряется, сто лет могут сжаться до пятидесяти, но вряд ли меньше. В гимназических программах 1890-х годов классика кончалась вскоре после Гоголя, а Тургенева и Достоевского можно было читать или не читать по усмотрению. И, конечно, время от времени школа нервничала оттого, что не могла командовать современностью, и пыталась

включить ее в свои программы, но обычно безуспешно. При мне по советской литературе рекомендовалось проходить В. Ажаева и Г. Николаеву, и я помню хрестоматии, где концом и венцом был Д. Бедный. Однако опытные учителя предпочитали обсуждать современные новинки не на общих уроках, а в литературных кружках.

Я позволю себе сказать, что для меня и моих сверстников живое ощущение прошлого начинается с Серебряного века — то есть с дистанции как раз в сто лет. А тогда, в 1900 году, оно также естественно начиналось с Карамзина и Жуковского — тоже с дистанции в сто лет. Пушкин был еще достаточно живым явлением, чтобы футуристы именно его, а не Ломоносова, сбрасывали с парохода современности. Точно так же, как нынешним поэтам хочется бросить за борт не Пушкина, а Блока. А более долгие сроки? В 1911 году отмечался 200-летний юбилей Ломоносова, никто этого не заметил, кроме профессиональных филологов: Ломоносов был уже только музейной ценностью. Совсем недавно мы отмечали 200-летний юбилей Пушкина. Не была ли его истерическая пышность бессознательной попыткой скрыть, что Пушкин для нас тоже отодвигается в музейные ценности? Те из нас, кто доживет до 2028 года, присмотритесь, пожалуйста, как тогда будет ощущаться и праздноваться Лев Толстой.

Когда классику мы уже непосредственно не ощущаем, а прощаться с ней жалко, то мы стараемся подновить ее средствами современности… Эту заботу стараются взвалить на школу: постоянно появляются призывы, чтобы школьные учебники литературы писали не какие-то литературоведы, а писатели и критики. То есть чтобы они рассказывали не о Пушкине, а о своих как можно более современных впечатлениях от Пушкина. Школа от этого уклоняется, и хорошо делает. Но главное впереди: предстоит признаться, что художественный язык Пушкина для нас уже чужой, и изучать его с учениками, как иностранный язык: «Сейчас он тебе не нужен, но ты не знаешь, когда и с кем тебе на нем придется говорить». Такое обучение классической литературе становится этическим воспитанием, борьбой с эгоцентризмом: «Тебе не нравится? А вот двести лет назад всем нравилось: считайся с этим». Борьба, к сожалению, безнадежная: школьник поймет такой урок только тогда, когда сам станет взрослым.

2003 г.

УРОК ТОЛЕРАНТНОСТИ: ПОЧВЫ ДЛЯ ТЕРПИМОСТИ БУДЕТ БОЛЬШЕ

(интервью для газеты «Первое сентября»)

— *Когда-то мы с вами в редакции говорили о вкусах, и вы поразили нас именно тем, что теперь принято называть толерантностью. Это ваше природное свойство, или оно воспитано родителями, учителями, жизненными обстоятельствами? Может ли человек сам в себе воспитать это качество?*

— В детстве я был как все дети, считал: что мне нравится, то и правильно. Но скоро обнаружил, что доказать свою правоту не могу: всякое выяснение вкусов упиралось в убежденность, которой не переспоришь. Настаивать на своем — значило постепенно порвать отношения и остаться совсем одному. В школьном возрасте все выяснения отношений грозят дракой, а я был слаб. Поэтому бессознательно я стал стараться понять собеседника и уловить ту границу, дальше которой лучше не настаивать, понять и извлечь какой-то прок для себя: «вот какие убеждения на свете бывают, вот как с ними надо быть осторожным». Старания были долгими, научился я чему-то лишь став взрослым, а чему-то не научился до сих пор.

В детстве кто сильней, тот и прав. Большой мир был сильней меня, стало быть, он был прав, а я неправ. Если он не во всем соответствовал моим представлениям о красоте и правде — представлениям, этим самым миром и внушенным, — значит, в этом была какая-то тонкость, которую он не успел мне внушить, значит, я должен был додуматься до нее самостоятельно. А пока не додумался — не настаивать на своих суждениях. Потом я прочитал в Евангелии: «Не судите, да не судимы будете». Из Евангелия каждый вычитывает то, что ему ближе, я для себя вычитал именно это. Потом я заметил, что большинство тех, кто читал Евангелие гораздо усерднее, чем я, именно эти слова оставляли без практического применения. Значит, у них был другой склад характера и другой жизненный опыт.

Большой мир — это прежде всего мир взрослых, на детей он давит очень тяжело. В некоторых от этого развивается ребяческая нетерпимость: мой сын кричал «Не хочу взрослеть!» в тринадцать лет, а внучка — в шесть лет. Я не мог так кричать — я был необщителен, за мною не было подростковой субкультуры. Вместо этого я старался понять мир взрослых, как своего врага, чтобы лучше научиться выживать в нем. На этом старании я научился приобретать знания (чтобы хоть что-то ценимое ими, знать лучше, чем они) и, вероятно, научился

тому поведению, которое вы называете толерантным.

— Считаете ли вы, что человек образованный, много видевший, например путешествовавший, естественно и незаметно обретает терпимость к чужой культуре, а проживший всю жизнь на одном месте, в горах, в деревне, обречен быть менее толерантным?

— Я предпочитаю знакомиться с миром по книгам, из вторых рук; те, у кого мысль смелее, действительно предпочитали все увидеть своими глазами и во всем разобраться самостоятельно. Книги, которые я читал, сплошь и рядом противоречили друг другу: было ясно, что Овидий не понял бы Пушкина, а Пушкин Достоевского. Они могли позволить себе такое непонимание, а я не могу, мне они все предписаны как классики. Поэтому я должен понять связь мыслей и чувств каждого, выделить то, что приемлемо для меня, связать это в своем сознании (в такой-то ситуации мне будет ближе Овидий, а в такой-то — Достоевский) и сказать спасибо каждому за то, чем он мне помог. Наверное, это меня тоже чему-то научило: говорят ведь, что самый нетерпимый человек тот, который в жизни прочитал только одну книгу. Это все равно как изучение языков: кто к этому непривычен (а советская школа очень старалась, чтобы оно было непривычным), тому свой кажется правильным, а ос-

тальные неправильными; а кто к этому привычен, тем не только язык чужих слов, а и язык чужих мыслей не будет казаться неправильным.

Я много переводил и старался выбирать писателей, по душевному складу непохожих на меня, чтобы ближе познакомиться с чужими чувствами, стерпеться и слюбиться. Ни на величавого Пиндара, ни на изящного Овидия я не похож, поэтому они были мне интересны. Моя немецкая знакомая, филолог и журналист, врасплох спросила меня: «И вы могли бы переводить любую книгу?» Я, врасплох же, ответил: «Нет, не мог бы расистскую, не мог бы садистскую. Может быть, мог бы эвфемистическую эротику, но не мог бы сквернословящую».

— *Не кажется ли вам, что экономический прогресс, поощряя страсть потребления, развивает эгоизм и бессердечие, равнодушие к страданиям других людей? И как этого избежать?*

— Нетерпимость рождается из зависти. Когда мир беден и в нем каждый кусок на счету, то обездоленные нетерпимы к обеспеченным, а обеспеченные отвечают им тем же. В XIX веке обездоленными были пролетарии, и борьба была классовой, В наше время обездоленность сдвинулась на страны третьего мира, и борьба стала расовой и религиозной. Цивилизованному миру хватило бы излишков, чтобы хоть сколько-то уменьшить их обездоленность, но вместо этого унаследованный от

бедных времен инстинкт держаться зубами за каждый кусок заставляет изобретать себе новые потребности. Когда эта привычка иссякнет, то почвы для терпимости станет не меньше, а больше. История обнадеживает, что как капиталисты научились прикармливать рабочих, так они научатся прикармливать и третий мир. Но хорошо, если для этого не понадобится новая мировая война.

— А в искусстве перед нами вечный бой: элитарное искусство презирает массовое, массовое издевается над элитарным, художественные школы борются друг с другом. Как же с толерантностью у властителей дум?

— Искусство — это передовой край культуры, открывание и изобретение нового, область, где нет авторитетов, к которым нужно применяться своею терпимостью, эти авторитеты позади. Только по пятам людей искусства в эту область приходит наука, все систематизирует и иерархизирует, а первооткрывателей гонит на новые рубежи. Творчество — дело одиночек авангарда, исследование — дело массы культуроосвоителей. Кто занят творчеством, для того нет авторитета чужой мысли, он сам авторитет для себя и по инерции хочет быть авторитетом для других. Если угодно, у него психология самоутверждающегося подростка — такая, с какой мы начали этот разговор, пассионарная, как еще модно выражаться. (А у ученого, если он

настоящий ученый, — психология самоотрицания, растворение в научной истине, которая, он знает, существует и помимо него.) Каждая область привлекает людей с подходящим психологическим уклоном: один идет в армию, другой в педагогику, а гордец в искусство. Конечно, там он не терпит никого с собой рядом. Если перечитывать биографии великих писателей и художников, то обычно чувствуешь, что при всем преклонении перед таким человеком ты все-таки не хотел бы быть соседом с ним в коммунальной квартире. Ничего не поделаешь, такова экология культуры: если мы пользуемся продукцией завода, то должны терпеть, что он дымит и лязгает.

— Что вы скажете о слове «толерантность» — чем оно лучше (если лучше) русского слова терпимость?

— Я не уверен, что лучше, просто оно входит в моду. Почему вместо «подросток» стали говорить «тинэйджер»? Потому что и сами подростки, и пишущие о них хотят подчеркнуть: нынешний подросток совсем не таков, как подросток прежних времен, о котором писал Достоевский. Почему вместо «терпимость» стали говорить « толерантность»? Потому что мы привыкли пользоваться словом «терпимость» для бытовых человеческих отношений, а для идейных и государственных нам хочется завести более красивое слово. Об оттенках его использо-

вания недавно напомнил в «Новой газете» А. Г. Асмолов: по английскому словарю первое значение слова «толерантность» — это способность услышать и понять другого человека; второе значение — устойчивость к стрессам и конфликтам; и только третье — наша терпимость по отношению к ближнему. Со своей стороны я мог бы сказать, что по латинскому словарю первое, этимологическое значение слова «толерантность» — выносливость, способность переносить жар и холод, труды и битвы, боль и горе. К этому ряду можно добавить и «чужое мнение рядом со своим» — это бывает столь же неприятно, но без этого не проживешь.

— *И последнее: ваши пожелания нашим читателям — учителям мировой художественной культуры, которые станут участниками проекта «Урок толерантности».*

— Я не педагог, перед педагогами я преклоняюсь. Я мог только рассказать, как во мне самом сложилось что-то похожее на терпимость. Если учитель сможет так же понять, как складывались в нем самом приметы терпимости и нетерпимости, если сможет угадать, как они складывались в его учениках, и показать это им, чтобы их подростковая нетерпимость не казалась им непреложной и саморазумеющейся, — тогда наши дети, может быть, будут жить немного лучше, чем мы.

Окт. 2001 г.

Из ответа на письмо В. А. Лепешкиной (учителя русского языка и литературы, приславшего отклик на статью о толерантности)

...Конечно, Вы правы: если школьники учатся хуже, чем раньше, то причина — состояние общества. По сравнению с тем временем, когда мы с Вами учились, общество стало, во-первых, более сытым (хоть немного) и, во-вторых, более сложным. Это хорошо. Но из-за первой причины подростки теперь быстрее взрослеют физически, а из-за второй медленнее взрослеют социально. Силы есть, а к чему применить их, неизвестно. Раньше были средние семьи, теперь — богатые и бедные; одним кажется, что им и без учения будет хорошо, другим — что их и учение не спасет в жизни. И все это накладывается на неизбежную подростковую потребность в самоутверждении.

Как сказать им о том, что человеку нужна культура мышления и культура общения? Я бы попробовал вот как.

Науки и искусства выдуманы не для умения, а для удовольствия, то есть для удовлетворения человеческих потребностей. А потребности развиваются не сразу. Пятилетний человек знает удовольствия только от еды и игрушек. Пятнадцатилетний человек знает уже и другие — от вина, от секса; и он с полным правом смотрит на пятилетнего сверху

вниз. Но есть одна потребность, которая у пятилетнего больше, чем у пятнадцатилетнего: она называется «любознательность». Ее можно заглушить, как многие и делают, — что ж, у таких будет многими удовольствиями меньше. Но если ты сможешь ее сохранить — будешь с полным правом смотреть на пятнадцатилетних сверху вниз.

Твой сосед справа лучше всех разбирается в спорте, твой сосед слева — в эстрадной музыке, здесь тебе с ними все равно не сравняться; найди для себя такое, в чем ты мог бы разбираться лучше, чем они. А для этого задумайся, что, собственно, тебе интересно в первую, во вторую и в третью очередь. (Чтобы ничего не было интересно — так не бывает.) Ради чего? Ради того, чтобы получить удовольствие. Тебе кажется, что таких чудаков, как Чехов и Левитан, не бывает? Да нет, вот были же. А почему они предпочитали писать рассказы и картины вместо того, чтобы наживать деньги более практичным способом? Потому что им было интересно. Кстати, настоящий бизнесмен — это тот, которому интереснее наживать деньги, чем тратить их.

Пятилетний человек твердо знает: нужно быть или всех сильнее, или всех хитрее, только и всего. Пятнадцатилетний человек уже знает, что этого мало: на всякого сильного и хитрого найдется более сильный и хитрый. Вместо того чтобы перела-

мывать твоего соседа, попробуй его понять: тебе же будет выгодней. (Вся литература, которую проходят в школе, — тренировка на такое понимание.) Пока все вы живете в одном дворе, понять друг друга легко (или кажется, что легко). Но ты вырастешь, придется иметь дело и с теми, кто старше, и с теми, кто моложе тебя. Чтобы тебя не затерли, учись их языку: тогда не будешь зря тратить силы на обиды и взаимонепонимание. А взрослые пусть себе называют это культурой мышления и культурой общения.

Я представил себе такую программу разговора, а потом попробовал представить, что мне на это возразит любой пятнадцатилетний. И мне стало грустно, потому что я вряд ли смогу ему что-нибудь ответить. Легко поучать, труднее учиться самому.

Февр. 2002 г.

ИСТОРИЗМ, МАССОВАЯ КУЛЬТУРА И НАШ ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ

Литература и искусство (и наука, и религия) живут и развиваются в неразрывной связи с общественной, политической, экономической жизнью, частью которой они являются. Для их понимания необходима согласованная работа целого комплекса гуманитарных наук с историей во главе.

Мы привыкли считать это чем-то само собой разумеющимся. Однако это не так. Историзм — изобретение XIX века, а до этого три тысячи лет мировая культура обходилась без него. Сами историки знают это лучше, чем кто-нибудь: они помнят, как греческая и римская древность для многих веков, от Плутарха до Робеспьера, была не процессом, а статической картиной моральных доблестей и пороков, в которой между Фабрицием и Катоном Утическим не было никакого хронологического разрыва. Это было складочное место поучительных примеров на будущие времена. И не только поучительных: когда мы читаем Элиана или даже Павсания, мы на каждом шагу видим, что любая занимательность для античного человека имела очень мало соприкосновений с историчностью.

Мало того. Когда романтики изобрели историзм, это не отменило прежнего отношения к прошлому, а лишь усложнило его. Просто это значило, что общество расслаивается, и его духовные потребности дифференцируются. Элита романтизма и позитивизма наслаждалась все освещающим и все выравнивающим историческим подходом. А массовая культура по-прежнему искала в прошлом не истоки, а образцы. Теперь эти образцы чаще бывали не моральными, а художественными, не поступками, а позами «древних пластических греков». («Потому что меньше стали читать древних и больше ездить по древним местам», — говорил С. С. Аверинцев). Эти осколочные расхожие представления о древности складывались в конечном счете в мозаику банальностей, знакомую каждому. Никакого историзма в них, конечно, не было и нет.

Но эта массовая культура не заслуживает высокомерного презрения. Массовая — она и есть настоящая и представительная, а элитарная, авангардная культура состоит при этом серийном производстве духовных ценностей лишь как экспериментальная лаборатория. Греческие вазы, перед которыми мы благоговеем в музеях, были массовой культурой, обычными предметами обихода, и драмы Шекспира в «Глобусе» были массовым зрелищем, на которое ученые гуманисты смотрели сверху вниз. Канонизация — дело позднее и часто случайное (то есть тоже объяснимое лишь стечением

исторических обстоятельств). Более того, массовая культура гораздо меньше противопоставляет себя высокой, чем высокая массовой. Когда по библиотечным отчетам оказывалось, что Вербицкую читают больше, чем Льва Толстого, то это совсем не значило, что Вербицкая и ее читатели противопоставляли себя Толстому. Это было (и есть) не противоположение, а продолжение одного и того же культурного массива. И если на верхнем его конце торжествовует историзм, а на нижнем — голливудский исторический лубок, то они связаны друг с другом крепкими нитями, а как эти нити переплетаются, отвечает сама наша культура. Очень жаль, что мы это плохо себе представляем.

Когда мы противопоставляем высокую культуру и массовую культуру, мы рисуем картину мира, похожую на религиозную или платоновскую. На одном конце существует мир истинный, на другом мир ложный, и, чтобы причаститься мира истинного, нужно отрясти с себя мир ложный. Если мы не платоники, то не будем притворяться небожителями: признаемся, что окружающий нас мир — не совсем уж такой ложный. И будем, опираясь на него, осмыслять для себя и строить для других лестницы в мир высокой культуры — пересекающиеся, сбегающиеся и разбегающиеся.

В энциклопедии про слово «вода» говорится: «соединение двух атомов водорода с одним кислорода» — в словаре русского языка написано: «про-

зрачная жидкость без цвета и запаха». В энциклопедии сообщается, что земля вращается вокруг солнца — в песне поется «солнце всходит и заходит». Для разных областей нашей жизни и работы мы обходимся разной степенью точности наших представлений о предметах. Так и картина мировой культуры по-разному выглядит для специалиста и для рядового носителя культуры. Важно лишь одно: чтобы эта картина была по возможности связной. Это не всегда получается: попробуем представить, как образ античности в сознании среднего человека складывается из полузабытого школьного учебника, мифов Куна, голливудского кино и набора случайных знаменитых имен! Я написал научно-популярную книжку «Занимательная Греция» нарочно для того, чтобы привести эти осколочные представления читателей в какую-то связь. И я очень хотел бы, чтобы кто-нибудь помог мне привести в связь мои собственные представления о других областях мировой культуры — например, написал бы книгу «Занимательный ислам» или «Занимательный Китай». Или даже о моей собственной европейской культуре написал бы так, чтобы политические и экономические теории нашли в ней осмысленное место рядом с литературой и искусством, а военное дело рядом с модой. Потому что при нынешней специализации всех наук даже специалист вынужден довольствоваться за пределами своей узкой профессии представлениями на уров-

не «солнце всходит и заходит». И очень важно для единства общества, чтобы такие представления у всех нас были приблизительно одинаковыми. Академическая гуманитарная наук может этому помочь — лишь бы она снизошла вниманием до пренебрегаемой ею массовой культуры.

Мы, часто считающие себя высокими интеллектуалами, тоже носители массовой культуры — разве что не в тех областях, что наши соседи. Тот же Аверинцев говорил: «Мы не сможем отстаивать культуру, пока не научимся видеть врагов этой культуры в себе». Право, собственная наша культура тоже неполна и эклектична, если мы не знаем эстрадных хитов и модных фильмов. А если мы их знаем, то даем ли мы себе отчет, как они в нас уживаются?.. Конечно, общекультурная обязанность «уважать» и личная потребность «любить» — вещи разные. Здесь нам особенно не хватает одного забытого понятия: вкус. При Вольтере понятие вкуса было, так сказать, прикладным при теории словесности, с него начиналась всякая критика; современная же критика замечательным образом умеет даже не вспоминать об этом понятии. Вкусов стало много, и понимать вкусы друг друга — необходимое требование единства культуры. А чтобы понимать их, нужно знать, как они сложились и как разошлись, — нужен историзм. Вольтеровский разум еще мог обходиться здесь без историзма, наш уже не может.

Зеркалом этой эклектичности и мозаичности нашей культуры может служить школа. Это одно из самых болезненных мест сегодняшней культурной жизни. Почему? Потому что объем культуры бесконечен, а сознание отдельного человека конечно, стало быть, мы можем предложить ему лишь ее фрагменты. Отбор этих фрагментов — важнейший элемент единства культуры. Сейчас в России (да и не только в России) происходит пересмотр критериев этого отбора — отсюда и болезненность. Но в самом деле: почему из биологии, химии и физики нам предлагают в школе именно такие-то разделы, а не иные? Потому что их сделала актуальными история развития этих наук. Сказано ли об этом, хотя бы двумя словами, в каком-нибудь школьном учебнике? Насколько я знаю, нет. Вот где важно вспомнить об историзме.

Монолитность всякой культуры — иллюзия. XVIII век кажется нам очень законченной, выразительной и монолитной культурой. Лишь специалисты помнят, что в этом веке для одного читателя существовало только рококо, а для другого новомодный Руссо, а третий еще не шел дальше Вергилия и Корнеля, а четвертый упивался лубочной «синей библиотекой», — а многие совмещали и одно, и другое, и третье. Такая же живучая иллюзия — что в русском «серебряном веке» все только и читали, что Блока. Ничего подобного, все читали стихи из журнала «Нива», которым мы ужасаемся. На-

верное, лучше сказать, что мозаичность — дело дистанции: вблизи она режет глаз безобразными контрастами, а издали сливается в ровный колорит, как у пуантилистов. Высоких классиков мы видим издали, а среди современников мучимся вблизи. Исторический подход к разнослойности прошлых культур может дать нам тот опыт, который немного облегчит эти наши мучения.

Всякая культура строит свое будущее из обломков своего прошлого. Совершается это строительство стихийно: обычно академическая наука его не планирует. Но она… проверяет, насколько годятся эти обломки для тех мест в новой постройке, для которых они предназначаются. (Память об афинской демократии — может ли она быть полезна для выработки демократий XXI века?) Поэтому гуманитарная наука не может быть только хранилищем культурной памяти, она должна представлять себе те запросы ближнего будущего, на которые эта память откликается. Это бывает трудно. Например, какая проблема важнее для человечества сейчас — в начале XXI века? Может быть, это продолжающаяся борьба человека с природой, то есть проблема экологического равновесия? А может быть, это борьба в обществе, организующемся для этих новых отношений с природой, — тогда это проблема обнищания третьего мира, глобальный социальный раскол и агрессия религиозного фундаментализма и экстремизма. Наука история могла бы многое с

пользой припомнить для решения этих проблем, но не всегда умеет это делать.

Но есть одна проблема ближайшего будущего человечества, которая важнее и бесспорнее всех. Это проблема взаимопонимания и взаимоуважения человеческих обществ и культур. Без ее решения впереди может быть только катастрофа. И здесь роль гуманитарной науки, вооруженной историзмом, особенно велика. Было замечено: культуры знакомятся и сближаются друг с другом, как люди, в два приема. Сперва они должны заметить друг в друге общее — иначе знакомство невозможно. А потом они должны заметить друг в друге несхожее — иначе знакомство скучно. Мы знаем, что на практике это оборачивается крайностями: если одна культура видит в другой сходное, то она воображает, что это не сходство, а тождество, вплоть до мелочей, и обижается, что это не так; если же она видит в другой культуре несхожее, то свысока отвергает ее как варварскую. Мусульмане считали дикарями христиан, а христиане мусульман. Объяснить и оправдать эти культурные различия, чтобы они не мешали, а помогали единению человечества в противостоянии природным силам, — для этого нужна оглядка в прошлое, для этого и нужен историзм.

2005 г.

ПРОГРЕСС КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ, А НЕ КАЧЕСТВЕННЫЙ

(из интервью для журнала «Итоги»)

— ...*Существуют ли, по-вашему, в искусстве табу?*

— Конечно. Например, для авангардиста табу — четырехстопный пушкинский ямб: он возможен только как издевательство. «Ямбом писать» для Маяковского было ругательством. Искусства со вседозволенностью, без табу, без ограничения материала не бывает: тогда оно бесформенно расплывается. В каждом жанре свои ограничения: в одном матерные слова обязательны, в другом запретны. Смешивать можно, но с осторожностью. Кто-то сказал: «Американцы сделали все непечатные слова печатными, и что же? Им стало нечем ругаться. Вот ужас-то!»

— *Недавняя публикация приложения к «Диалектике мифа» Алексея Лосева вызвала споры, напомнившие полемику о том, имеет ли Ницше отношение к идеологии нацизма... Существует ли, по-вашему, ответственность за мысль?*

— Существует ответственность за систему своих мыслей. Конечно, из каждой системы можно

выломать отдельную мысль и использовать ее совсем непредусмотренным образом. Точно так же, как Пушкина можно разложить на буквы и составить из них матерное слово. Каждый говорящий должен помнить, как могут поступить с его мыслями, и вести себя соответственно. Лучше всего — не бравировать отдельными высказываниями, а стараться донести до читателя всю свою систему. Это трудно.

Лосев — философ, я — филолог. Философия — дело творческое, филология — исследовательское. Творческий человек не может быть всеприемлющим, он должен руководствоваться своими пристрастиями, иначе он ничего не создаст. Исследовательский человек не имеет на это права, иначе он ничего не поймет. Филолог — этимологически — это тот, кто любит ВСЯКОЕ слово. Я стараюсь…

— Каково ваше представление о культуре будущего?

— Хорошее. Я верю в прогресс, только не качественный, а количественный. Нельзя построить пирамиду лучше египетской или Парфенон лучше афинского. Но можно предложить человеку на выбор и античную систему ценностей, и египетскую, и еврейскую, и китайскую — чем больше, тем лучше, и все с одинаковой подробностью и ясностью. И пусть человек сам выбирает то, что ближе его душевному складу. Сейчас никто не думает, как в

средние века, что сын сапожника непременно должен быть сапожником, но все еще думают, что сын православного непременно должен быть православным; и от этого бывает много душевных неудобств. Но пока филологи не написали нам плюралистических учебников, а психологи не соотнесли культуру обществ с душевным складом личностей, к сожалению, до этого еще далеко.

1996 г.

«ПРОСТО ЧИТАТЬ» — СОВСЕМ НЕ ПРОСТО
(из интервью для «Российской газеты»)

— *Какая, по-вашему связь между наукой и идеологией?*

— Идеология как система навязываемых взглядов существует всегда, если не как догма, то как мода. Я могу выделить и то, что во мне от марксизма, и то, что от реакции на него. Моим стиховедению и общей поэтике одинаково неуютно и в советском, и в послесоветском идеологическом климате: там они слишком далеки от обязательной идейности, тут — от обязательной духовности. Сказать то, что ты хочешь сказать в науке, можно всегда: на то мы и учимся риторике. Смена режима сказалась в том, что раньше мне нужно было треть сил тратить на риторические способы, чтобы приемлемым образом высказать то, что я думаю, а теперь этого не нужно; так что я полагаю, что теперь жизнь все-таки пока лучше. Во всяком случае для меня, старого и безопасного. Лучше ли для молодых, которые должны пользоваться понятиями Дерриды и Флоренского, как мы должны были пользоваться понятиями Маркса, — в этом я не так уверен...

— От многих гуманитариев старшего поколения можно услышать: «сегодняшняя современность не мое время, я здесь чужой». А Вы?

— Это обычное ощущение старших поколений во все времена, и не только у гуманитариев. У греков была поговорка: «Старость — второе детство», потому что дети живут в чужом мире старших, а старики — в чужом мире младших. Конечно, я и мои сверстники чувствуют этот мир чужим, и пусть, лишь бы на это не злобились.

— Что имелось в виду, когда говорилось: я готов идти против течения?

— Я не знаю за собой такого свойства. Мне гораздо привлекательнее сентенция, которую я прочитал в эпиграфе какой-то хорошей книги: «Не плыви по течению, не плыви против течения, плыви туда, куда тебе надо».

— В чем вы больше западный, а в чем российский?

— Все хорошее в науке — общее для России и Запада. Все недостатки в ней — национальные: от русской, немецкой и прочей ограниченности. Если мне укажут мои недостатки (со стороны виднее), то, скорее всего, они окажутся российскими…

— В чем, на Ваш взгляд, назначение филолога?

— Именно в том, чтобы понимать чужие культуры — особенно прошлые, чтобы лучше знать, откуда мы вышли и, стало быть, кто мы есть. Архе-

олог понимает их по мертвым вещам, филолог по мертвым словам. Это трудно: велик соблазн вообразить, что эти слова — живые, и понимать мысли и чувства чужой культуры по аналогии с душевным опытом нашей собственной культуры. Ребенку кажется, что если «да» по-русски значит «да», а по-немецки «там», то это неправильно, а на самом деле «да» всюду одно. Легко объяснить ему, что это не так, но гораздо труднее объяснить взрослому, что «любовь» по-русски и «любовь» по-латыни — тоже очень разные вещи. Вот этим и занимается филология: отучает нас от эгоцентризма, чтобы мы не воображали, будто все и всегда были такие же, как мы. Мой покойный товарищ С. С. Аверинцев хорошо писал об этом в самой первой своей публичной статье, которая называлась «Похвала филологии»...

— Еще недавно книг в жанре «Ученые — детям» было множество. Теперь эта традиция выродилась. Можно ли ее восстановить?

— «Множество» — это все-таки преувеличение. Хороших научно-популярных книг (по крайней мере, по истории) было не очень много: по одной в несколько лет. Но что они все-таки появлялись — это заслуга советского издательского дела или отдельных его подвижников... Кажется, сегодня книжное дело начинает упорядочиваться, а это позволяет надеяться: появятся переиздания, за ними

подражания, и традиция постепенно восстановится. Потому что насущная потребность в научно-популярной литературе виднее с каждым днем. Масса информации вокруг нас растет, школа с нею уже не справляется, и все большую часть ее берут на себя научно-популярные книги. Вузовские преподаватели жалуются, что школьники приходят в вуз до ужаса малоподготовленными. Школьники не виноваты, виноваты мы, потому что слишком мало пишем для них понятно и занимательно…

— *Как вы относитесь к идее выбросить из школы филологию и, в частности, анализ стихов: пусть дети просто читают художественную литературу?*

— «Просто читать» — совсем не просто: даже взрослый обычно не может дать себе отчета, почему ему нравится или не нравится такое-то стихотворение. Когда школьник спрашивает: «А почему я должен интересоваться Пушкиным?» — то ответить ему очень трудно. Когда человек не понимает, что и почему ему интересно, то ему трудно искать новые книги, которые могли бы оказаться ему тоже интересны, и он начинает читать только привычное или вовсе перестает читать. Конечно, тем, у кого от природы тонкий художественный вкус, это не грозит, и учиться анализу им не нужно. Но таких мало; у меня, например, такого вкуса нет. Вот таким, как я, мне и хочется помочь.

— Применение точных методов в литературоведении — хорошо ли это, не убивает ли это живое целое, разлагая его на части?

— А вы уверены, что Пушкин для вас — живое целое? Пушкин писал не для нас, мы воспринимаем из сказанного им лишь малую часть, а остальное дополняем своим воображением. Конечно, это наше право: мы окружены обломками прошлых культур и пользуемся ими, чтобы строить нашу собственную культуру. («Мы» — это каждый из нас: новую культуру строят не только писатели, но и читатели.) Но чтобы взять кирпич, оставшийся от старого здания, и положить его на то место, где он лучше всего будет работать в новом здании, полезно знать, как был сделан этот кирпич и на какое место в старом здании он был рассчитан. Для этого мало чутья, для этого нужны и точные методы... Точными подсчетами мы описываем арсенал приемов, которыми пользуется каждый писатель, — приемов ритмических, приемов стилистических, приемов тематических. Разумеется, писатель пользуется этими приемами без всяких подсчетов, на слух, интуитивно. И читатель тоже имеет право над этим не задумываться и хвалить (или бранить) стихотворение на свой вкус, интуитивно. Но если ему захочется задуматься: «а почему мне нравится (или не нравится) такой-то оборот», — филолог с точными методами к его услугам. Мы наслаждаемся соловьиным пением, не имея понятия, как уст-

роено соловьиное горло. Однако мы не удивляемся, что существуют зоологи, которые изучают именно устройство соловьиного горла. Вот так не надо удивляться и тому, что существуют филологи, которые изучают устройство стихов. И прозы.

— Раньше в книгах по литературоведению писали главным образом об идейном содержании, а стих и стиль считали формализмом. Когда случился этот поворот внимания к форме, и связан ли он с поворотами в нашей общественной жизни?

— Когда начинающий читатель смотрит на книгу, он естественно прежде всего интересуется: «о чем она?» Лишь когда он наберется опыта, он начинает интересоваться: «а как она написана?» — потому что знает: из двух книг об одном и том же одна может ему понравиться больше, а другая меньше. В советское время полагалось смотреть на книгу именно глазами начинающего читателя: «главное — содержание, оно определяет форму». На самом деле содержание определяет форму совсем не целиком. Если бы Пушкин выдумал четырехстопный ямб специально для «Евгения Онегина», то его можно было бы целиком вывести из содержания «Онегина». Но четырехстопный ямб был выдуман много раньше, оброс многими стилистическими и тематическими ассоциациями, и некоторые из них были очень важны для восприятия «Онегина», а поэтому заслуживают отдельного изучения. Начинающих

читателей и сейчас много, и от них никто не требует в этом разбираться.

— Почему часто приходится слышать: «Не люблю Пушкина»?

— Потому что мы часто подходим к нему не с теми ожиданиями, на которые рассчитывал Пушкин. Мы в XX веке привыкли к поэзии ярких контрастов, а у Пушкина — поэзия тонких оттенков. Конечно, если она не дается, Пушкина можно просто отложить в сторону; но если мы научимся читать по оттенкам, то наш мир станет только богаче. Беда в том, что именно этому школа нас не учит: она еще не привыкла, что Пушкин от нас отодвинулся на двести лет, что его поэтический язык нужно учить, как иностранный, а учебники этого языка еще не написаны. Вот филологи их и пишут по мере сил.

Я сказал: «подходим не с теми ожиданиями». Что это значит? Вот Евгений Онегин получил письмо от Татьяны. Чего ждали первые пушкинские читатели? «Вот сейчас этот светский сердцеед погубит простодушную девушку, как байронический герой, которому ничего и никого не жаль, а мы будем следить, как это страшно и красиво». Вместо этого он вдруг ведет себя на свидании не как байронический герой, а как обычный порядочный человек — и вдруг оказывается, что этот нравственный поступок на фоне безнравственных ожиданий так же поэтичен, как поэтичен был лютый роман-

тизм на фоне скучного морализма. Нравственность становится поэзией — разве это нам не важно?

А теперь — внимание! Пушкин не подчеркивает, а затушевывает свое открытие, он пишет так, что читатель не столько уважает Онегина, сколько сочувствует Татьяне, с которой так холодно обошлись. И в конце романа восхищается только нравственностью Татьяны («я вас люблю… но я другому отдана»), забывая, что она научилась этому у Онегина. А зачем и какими средствами добивается Пушкин такого впечатления — об этом пусть каждый подумает сам, если ему это интересно…

— *Не пересмотреть ли канон классических авторов?*

— А его уже пересмотрели: вместо Фадеева проходят Булгакова, вместо Чернышевского — никого. Я бы пересмотрел еще и канон классических произведений: вместо «Кому на Руси жить хорошо» предложил бы некрасовскую же сатиру на капитализм «Современники». С ее моралью: «дельцы — мерзавцы, однако дело делается». Мне кажется, это ближе нашему времени и даже не потребует больших комментариев о том, что случилось после падения крепостного права и т.д.

— *Почему вы написали «Занимательную Грецию»? Разве история древней Греции нуждается в популяризации?*

— Популяризация — это значит: делать не общеизвестное общеизвестным. История греческой

культуры не так уж общеизвестна — говорю об этом с совершенной ответственностью. Стало быть, нуждается, — разве нет? Точно так же, как история всякой другой культуры; мне очень жаль, что я так и умру, плохо зная, например, арабскую культуру, оттого, что не нашел подходящего для меня ее популярного описания…

— А если бы у вас появился подражатель, который решил написать книгу «Занимательная Россия» — о современной России, сохраняя стилистику «Занимательной Греции»? Что получилось бы из такого труда? Или он так и остался бы не закончен, потому что для подобной работы необходима дистанция в века?

— Сочиняя «Занимательную Грецию», я однажды попал в больницу, сосед меня спросил, что это я пишу. Я ответил, он сказал: «Наверное, еще интереснее было бы написать «Занимательную историю КПСС» — это были еще те времена. Разумеется, человек с ясным умом мог бы просто написать и о сложной современности — я первый был бы рад прочитать такую книгу. Некоторые и пишут, но для взрослых, а школьникам такие книги нужнее: им в этой современности жить и работать. А дистанцию для такого взгляда создает сам пишущий, если хватает сил. Академик Веселовский, филолог, сто лет назад говорил: «Нам кажется, что средневековые поэмы и повести все на одно лицо, а нынешние, реалистические, — все разные, все

индивидуальные. Но это иллюзия — попробуем охватить взглядом всю массу того, что сейчас пишется, как мы охватываем старину, и мы увидим, что и у нас все на одно лицо». О развале советской империи проливают слезы во всех газетах, и всем кажется, что это единственная в своем роде трагедия. Редко кто вспоминает, что в 1960 году точно так же развалились все западные колониальные империи, и мы тогда этому не удивлялись, а радовались. Теперь эта волна истории дошла и до нас, с обычным запозданием в одно поколение, — нужно ли ждать дистанции, чтобы это понять и об этом сказать?..

— Что бы делал Эпиктет, о котором вы писали, будь он не «древним пластическим греком», как у Козьмы Пруткова, а нашим современником-шахтером?

— Вопрос прекрасный, но ответ — очевидный. Если бы Эпиктет был шахтером, он бы исправно работал в шахте, вел бы с товарищами точно те же беседы, а они бы, будь на то хоть малая возможность, точно так же их записывали бы. Не забывайте, Эпиктет был не пластическим эстетом, а рабом, а рабам в древности жилось не лучше, чем шахтерам в наше время.

— Что для вас означает это выражение — «аристократы духа»? Есть еще понятие «властители дум», очень популярное лет пятнадцать назад. Насколько они вам близки?

— «Аристократы» — выражение метафорическое и обычно значит: особая порода хороших людей, обычно наследственная. Мне не хочется верить, что такие люди существуют как порода, — но, конечно, это только потому, что я не чувствую этой аристократичности в себе самом. «Властители дум» — тоже понятие мне не близкое: оно как бы предполагает твою некритическую подвластность их власти, а меня учили, что это нехорошо. Однако если представлять их себе не породой, а поштучно, — то, конечно, у каждого из нас есть круг людей, которые для него авторитетны, как умные люди и как хорошие люди. К счастью, эти два качества часто совпадают.

— *Можно ли сказать о смерти С. С. Аверинцева «с ним умерла целая эпоха»?*

— ...Аверинцев замечательно умел человечески чувствовать другие культуры — то, что называется « дух времени»... Я не знаю, был ли он символом эпохи: он был очень сам по себе, учителем себя никогда не считал, говорил: «Учить аспирантов методу я не могу, а могу только показывать, как я делаю, и побуждать делать иначе». Эти аспиранты лучше скажут, умерла ли с ним эпоха...

— *Что вы пожелали бы молодым гуманитариям?*

— То же, что и Аверинцев: смотрите, что делали те, кто работали раньше вас, и делайте иначе.

2004 г.

ПОНИМАНИЕ ЧЕЛОВЕКА — ЭТО ОБЩЕЕ ДЕЛО

(из интервью для газеты «Московские новости»)

— *...Вы написали для детей книгу «Занимательная Греция», но ее полюбили и дети, и взрослые. Насколько классическое образование, изучающее Грецию и Рим, позволило бы нам получить ту культурную прививку, которая приблизила бы нас к основам западной цивилизации?*

— «Классическое образование» — не очень удачный термин. Я бы сказал, что необходимо «культурно-историческое образование»: такое, которое не только сообщало бы нам последние истины науки и вкусы искусства, а и рассказывало бы, как люди к ним шли и куда открываются пути дальше. Это помогло бы нам уберечься от эгоцентрического самодовольства — будто мы венец истории.

Конечно, при такой оглядке одним из корней нашей культуры окажется греко-римская античность, но другим будет иудейско-христианская традиция, а вокруг них лягут азиатские, о которых мы обычно знаем лишь понаслышке, а жаль. Дореволюционное российское «классическое образова-

ние» — совсем не идеал: сосредоточившись на греческой и латинской грамматике, оно душило несколько поколений и сумело расширить свой культурный кругозор лишь накануне революции.

— Хотя бы знали точнее, кто такие олигархи, о которых, кажется, еще Платон и Аристотель писали.

— Ну, «олигархи» в наших газетах — это совсем не то, что «олигархи» в греческой древности. Там это были хозяева политической жизни, а у нас — хозяева экономической жизни: просто капиталисты. Как раз последние наши события показывают, что от экономической власти до политической им бывает очень далеко. Так что ни Платон, ни Аристотель за наших олигархов не в ответе.

— От многих молодых и не очень людей сегодня часто слышишь вопрос: как вам нравится сегодняшнее время, лучше оно или хуже того, что было? Как бы вы на это ответили?

— То есть вы хотите спросить, есть ли на свете прогресс? Я на это привык отвечать: если бы его не было, то мы бы здесь не разговаривали с вами, потому что сто-двести лет назад по статистической вероятности один из нас умер бы в младенчестве. А мы вот живем, и молодые люди живут. Конечно, они вправе спрашивать: а стоит ли жить, если жизнь вокруг такая скверная? Но так как они все-таки не спешат умереть, то, наверно, стоит…

— Какова, по-вашему, сегодня ситуация в отечественной и мировой филологии?

— В филологии, как и во всей культуре, чередуются полосы вкусов рационалистических и иррационалистических — это как чередование шагов правой и левой ногой. У меня вкусы рационалистические, научные: когда я был молодым, это называлось «формализм», когда стал взрослым — «структурализм». Сейчас это немодно: на Западе — полоса вкусов иррационалистических, филология играет интуицией и притворяется не наукой, а искусством, это называется «постструктурализм» и «деконструктивизм». А в России после советского марксизма наступил такой идеологический вакуум, в который сразу хлынули и сегодняшние, и вчерашние западные моды вперемешку с позавчерашней русской религиозной философией. И это сливается в такую противоестественную смесь, описывать которую я не берусь.

— Кажется, у вас я прочитал, что миссия филолога — понимание человека через его высказывания. Что же вы поняли в человеке?

— «Понимание человека» — это никак не миссия филолога: это общее дело каждого из нас. Миссия филолога — это понимание человеческих высказываний, то есть тех средств, через которые можно понимать человека. А эти средства целиком принадлежат языку, культуре и эпохе. Понять сквозь

них человека другого времени очень-очень трудно. Поэтому обычно мы наивно представляем его по образцу нас самих, эгоцентрически считая наши собственные качества вечными…

— А как оцениваете нынешнюю массовую культуру? Стала ли она более управляемой? Прошел ли период первоначального хаоса?

— Мне казалось, наоборот: массовая, серийная культура всегда менее хаотична и более единообразна, чем экспериментальная. Глядя на книжные прилавки, в этом можно только убедиться: даже по обложкам не спутаешь дамский роман с историческим или с детективным. Значит ли это, что она более управляема, — не знаю. Что значит «управляема»? Кем?..

— …Фрагменты ваших воспоминаний в «Записях и выписках» — это настоящая замечательная проза, которая заставляет меня спросить: о ком бы вы написали в первую очередь, если бы вы писали продолжение?

— И все же я бы лучше, как Борис Пастернак в известном телефонном разговоре со Сталиным, предложил поговорить «о жизни и смерти»…

Пастернак, по контексту того разговора, хотел спросить Сталина: имеет ли человек право, во имя чего бы то ни было, лишать жизни другого человека? Общий ответ очевиден: нет, не имеет, но иногда приходится — например, на войне.

Более конкретный вопрос звучал бы: при каких обстоятельствах вы лично могли бы убить человека? Я с такими обстоятельствами еще не сталкивался и поэтому отвечать на него не могу. У кого больше жизненного опыта, и притом тяжелого, те могли бы.

2004 г.

О ВКУСАХ
(для газеты «Первое сентября»)

...Есть пассивный интерес к культуре: любоваться ею (или морщиться от нее) такой, какой ее тебе предложили. И есть активный интерес к культуре: отбирать из нее то, что подходит к твоему душевному складу, переделывать то, что не вполне подходит, терпеть то, что совсем не подходит. Каждый из нас по мере сил в чем-то активно совершенствует нашу культуру (в том широком смысле слова, о котором я говорил!) — если не на работе, то в семье. А во всем остальном, по ограниченности человеческих сил, остается пассивным ее потребителем. То есть поневоле пользуется весьма упрощенными ее образами. Я могу описать статую с точки зрения любующегося зрителя и могу — с точки зрения скульптора, которому приходится думать и о собственном вкусе, и о требованиях заказчика, и о сопротивлении материала, и об обстановке, в которой она будет стоять. И это будут два очень разных описания. Уверяю вас, ту же античность все мы (и я в том числе) в глубине души представляем себе приблизительно по Козьме Пруткову.

Между античностью Шиллера, Козьмы Пруткова, Вячеслава Иванова и советского учебника с Прометеем и Спартаком разница в красках, но не в степени упрощенности. Ничего постыдного в этом нет, мировая культура в сознании ее носителей всегда существует как вереница лубочных картинок. Будем же снисходительнее, когда мы браним массовую культуру за упрощение высокой.

...Как учат дошкольников и школьников понимать окружающий мир? Для дошкольника главный вопрос — «для чего»: какую пользу и какое удовольствие можно извлечь из каждого готового предмета пестрого окружающего мира? Школьника мы учим задавать вопрос «почему»: почему эти окружающие предметы именно таковы, каковы они есть, и нельзя ли, разобравшись в этом, сделать их получше? Получше для чего? Все для того же: для практической пользы и для душевного удовольствия. Вот эта способность извлекать из предмета душевное удовольствие и называется вкусом. Чем шире вкус, тем человеку лучше. Способности наши ограничены, поэтому бесконечно широкого вкуса не бывает, но ограничен вкус может быть по причинам внешним и по причинам внутренним. По внешним — это ограниченность бессознательная, когда человек слишком мало знает и ему просто не из чего выбирать. По внутренним — это ограниченность сознательная, когда человек примерился

ко многому и отобрал для себя то, что лучше соответствует его душевному складу. Во втором случае круг любимых предметов у человека, может быть, и не шире, но удовольствия он получает от них больше. Когда мы считаем, что у читателя бульварных романов вкус хуже, чем у нас, мы на самом деле имеем в виду именно это.

...Если моему ближнему кажется прекрасным то, что мне кажется пошлым, я говорю ему: почитай побольше — вдруг передумаешь. Когда Маяковский спорил с любителями Есенина, он им говорил: «Читайте лучше Блока: у него и про вино и про любовь то же самое, только лучше». Не знаю помогало ли это разлюбить Есенина, но понять его лучше, вероятно, помогало. А это важнее.

1997 г.

СТИХИ — СПОСОБ ПРИОБЩЕНИЯ К СОБСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ

(из интервью для газеты «Гудок»)

— Михаил Леонович, что такое стихи — выражение чувств, философское осмысление мира или что-то еще? И каковы, с вашей точки зрения, «вечные» темы стихов?

— Ни выражение чувств, ни философское осмысление мира. Любовь к Богу, Родине или подруге совсем не обязательно требует выражения словами с ритмом и рифмами; а философия заведомо лучше излагается в прозе, чем в стихах. Стихи — это способ приобщения к собственной культуре. Человек знает, что его современники, деды и прадеды в важных случаях личной и общественной жизни почему-то сочиняли слова, уложенные в короткие строчки, считали их достойными запоминания и пользовались поэтому уважением. Поэтому он тоже старается запомнить сочиненное до него и сам сочинить что-то похожее. О чем именно — зависит от моды. Когда-то модными были гимны богам, славословия правителям и поэмы о войнах и подвигах предков. Потом, полтораста лет назад, темами были природа и любовь. Сейчас «изблизи»

трудно определить, какие предметы считаются наиболее поэтическими; я бы сказал словами Салтыкова-Щедрина, что сейчас поэтом считается тот, кто способен изложить словесно крайнюю смутность переполняющих его чувств. Во всяком случае, через сто лет «вечными» темами заведомо будут считаться еще какие-нибудь иные. А как происходит эта смена вкусов, о том пишут толстые и не всегда толковые книги по истории литературы. История — это ведь такая вещь, закономерности которой очень трудно уловить.

— *И все же: каково место поэзии в современном мире? Книжные лотки завалены детективами и дамскими романами, стихов там нет; может быть, люди не хотят их читать?*

— Не скажите. На любом большом лотке есть маленький уголок, где видны корешки книг поэтов, от Пастернака и Цветаевой до Франсуа Вийона и японских классиков. Притом корешки — серийные, и таких серий несколько, у каждого издательства своя. Двадцать лет назад ничего похожего и представить было нельзя. Значит, спрос есть, хоть и «медленный». Конечно, сегодняшние поэты вправе жаловаться, что Пастернака и Вийона печатают и читают, а их самих не хотят. Но живым, пишущим поэтам во все времена приходилось довольствоваться узким кругом читателей-единомышленников, сквозь который они очень нескоро проса-

чивались к известности. Не забудьте, что и сегодня есть область, где спрос на стихи прямо-таки бешеный, — это эстрада. Люди ломятся на концерты, чтобы услышать чьи-то песни на чьи-то стихи. Конечно, это стихи убогие, но, опять же, во все времена на одно среднее стихотворение приходилось сто убогих. Раскройте раннего Лермонтова и перескажите своими словами первое попавшееся стихотворение — оно будет не более глубокомысленным, чем то, о чем сейчас кричат с эстрады. Если найдется поэт, который сумеет в этом бесшабашном жанре заговорить серьезно, это может стать большим событием. Такое бывало: чтобы не ходить далеко, вспомним Высоцкого.

— *Что заставило лично вас заняться изучением поэзии? Что вообще может помочь человеку найти свой путь в жизни?*

— Насчет пути в жизни — вопрос не ко мне: я не философ, не психолог, не педагог. Ребенку всегда интересно, как устроена та или иная вещь; мне легче удавалось понять, как устроены книги, чем как устроен паровоз или лягушка. Поэтому детский интерес стал все более сосредотачиваться на этом, и в результате вырос человек, который хорошо разбирается в словесности и очень плохо в биологии, физике или технике (о чем очень часто приходится жалеть).

— Каково сейчас качество нашего гуманитарного образования и чем, на ваш взгляд, характерна тенденция его развития?

— Гуманитарное образование сейчас никак не хуже, чем пятьдесят лет назад, когда я учился, а, скорее всего, даже лучше. Конечно, на одного хорошего преподавателя приходится сто посредственных, и на одну хорошую школу тысяча бедствующих. Но сейчас знания (и не только гуманитарные) усваиваются не столько из учебников, сколько из научно-популярных книг и (как говорят) телепередач; и, кажется, хорошей научно-популярной книге сегодня легче появиться, чем раньше. Здесь еще очень много неиспользованных средств. Например, всюду и всегда главной формой сохранения культуры были комментированные издания классиков — с такими комментариями, которые объясняют не только отдельные слова и понятия, а и связь мыслей, выразительность образов, исторический и бытовой контекст. У нас есть комментарии для специалистов, но нет комментариев для широкого читателя — таких, которые заполняют растущие пропасти его невежества, учат внимательному чтению и вдобавок (это трудней всего) написаны просто и интересно. Так умели писать комментарии к Некрасову Корней Чуковский, к Лермонтову — Ираклий Андроников, к «Евгению Онегину» — Юрий Лотман. Теперешние издатели школьных серий

классиков помнят об этих образцах, но подражают им пока не очень удачно.

— *Может ли гуманитарное образование повысить нравственный уровень человека и общества?*

— Возьмем «Евгения Онегина». Что там происходит? Столичный аристократ, высокомерно разочарованный и презирающий человечество, приезжает в дальний мир простых людей. Девушка, трогательное дитя природы, любит его и открывается ему. Чего ожидает читатель? приблизительно того же, что было в «Кавказском пленнике» или «Цыганах»: он безжалостно ломает ей жизнь, и она гибнет. Но Пушкин обманывает читателя: Онегин на свидании ведет себя не как байроновский герой, а как порядочный человек, который не желает ей дурного. И этот простой нравственный поступок на фоне романтических ожиданий так же художественно интересен, как буйные романтические страсти на фоне привычного быта. Отсюда эпиграф к 4-й главе (не только иронический): «Нравственность — в природе вещей», отсюда ответный поступок Татьяны в развязке романа. Читателю жалко героев, но он понимает, что иначе было бы только хуже. Можно считать это уроком нравственности? Думаю, что да. А встречали вы где-нибудь в популярной литературе такое разъяснение? Думаю, что нет. Значит, мы, просветители, еще плохо работаем.

— Вы занимаетесь античностью. Нужно ли обществу знание древности? Почему изучение древних языков неизменно считается чем-то элитарным, заумным?

— Наша европейско-христианская культура выросла из двух корней: из греко-римской культуры и из иудейской. Мы думаем по тем же правилам (а индийцы, например, по иным), мы решаем те же социальные, нравственные, художественные проблемы, что и в античном Средиземноморье; только в маленьких Афинах рассмотреть их было проще, чем в большом современном мире. Поэтому мы и оглядываемся на античность. Это ни для кого не обязательно, но интересно и полезно: чем больше исторический опыт, тем легче справляться с современностью. Латинский и греческий языки ничуть не труднее «для обычных людей», чем английский или испанский; кто их знает, о том совсем не всегда говорят: «вот — элита!» — чаще говорят: «вот — чудак!» Если сделать латынь в школах обязательной, то, как всякая обязательность, она вызовет только отвращение; в истории русского образования такое уже случалось. А если ввести ее для интересующихся, то будет хорошо. К счастью, такие школы уже есть.

2001 г.

О ШКОЛЕ И ОБРАЗОВАНИИ
(из интервью для газеты «Первое сентября»)

— Ваша книга «Занимательная Греция» сразу стала нужна хорошей современной школе. Вы рассчитывали на это? Какую роль вы отводите школе в жизни ребенка?

— У ребенка три наставника: семья, школа и улица. Семья учит его ценностям прошлого, улица — ценностям настоящего, а школа должна учить ценностям будущего. Школа это делает плохо. Что нужно перестроить, чтобы она это делала хорошо, я не знаю: я не педагог. Но знаю, что любая перестройка будет трудной: школа очень громоздкая и инертная структура. Пока этой перестройки не произошло, мне кажется, что школьники все лучшее узнают не из учебников, а из научно-популярной литературы: она разнообразнее и гибче. Хороших научно-популярных книг тоже мало, но их хотя бы легче написать или перевести, чем хорошие учебники. Я и хотел сделать такую научно-популярную книгу, которая дала бы школьнику то, чего не давал учебник.

— Иными словами, вам кажется, что самообразование важнее, чем образование, для формирования личности человека? или нет?

— Это зависит от человека и от обстоятельств. Для меня самообразование было важнее: я необщителен, личность учителя и соседство товарищей скорее мешали мне понять урок или лекцию, а не помогали. Знакомым студентам я говорю: «Помните, что университет — это пять лет, подаренные вам для самообразования, которому мешают лишь мелкие досадные заботы, например, посещение лекций». Но, конечно, человеку другого душевного склада будет легче воспринимать науку с голоса и в компании. Если повезет попасть к хорошему учителю — это большое счастье. Но ведь учебники, а тем более научно-популярные книги, для того и существуют, чтобы помочь тем, кому не повезло попасть к хорошему учителю. Хороших учителей — сотни, а тиражи у книг — тысячные.

— А повезло ли вам самим в детстве на хороших учителей? Какой запомнилась вам ваша собственная школа?

— Думаю, что повезло. Учительницу истории я вспоминаю с благодарностью, а учителя литературы — с очень большой благодарностью (хоть они и были очень непохожи друг на друга). Как я теперь понимаю, учитель математики у нас тоже был талантливый, но тут мне самому не хватило спо-

собностей, и я научился меньшему, чем мог бы. Учился я в первые послевоенные годы, школа была в Москве, в Замоскворечье, с видом на серый Дом на набережной. В классе были дети из этого «Дома правительства» и рядом — из подвалов и каморок, но социальной розни не чувствовалось. И антисемитизма не было. Значит, школа была хорошей. Когда через двадцать с лишним лет в школу — уже другую — пошли мои дети, то там разница между теми, кто из богатых и из бедных семей, уже очень сильно ощущалась. Боюсь, что и сейчас не лучше. А в остальном — школа как школа, учителя тянули свою лямку, ученики свою.

— *Считалось, что наша школа недостаточно хороша, слишком консервативна. Потом, когда лучше узнали опыт иностранных школ, это мнение начало меняться. А вы что об этом думаете?*

— Заграничную среднюю школу я представляю плохо. В Америке я спрашивал: как в школах преподают историю? Мне отвечали: главным образом рассказывают, как в каком веке одевались, в каких домах жили, какими вещами пользовались. Это хорошо (нашему преподаванию истории именно этого всегда не хватало), но, наверное, этого все-таки мало. А в университетах, где я бывал, меня сразу предупреждали: студенты в Америке плохие, а аспиранты хорошие. Я преподавал только аспирантам (славистам) и могу подтвердить: хорошие.

— Какими, по-вашему, должны быть педагоги, и что нужно было бы поменять в системе их образования?

— Скажу страшную вещь: они должны быть энциклопедистами. Наша школа страдает от перегрузки: каждый предметник старается втиснуть в ученика как можно больше своих знаний, а предметов с течением времени становится все больше и больше. Заставьте любого учителя — и просто любого взрослого! — сдать экзамен по всем предметам средней школы. Никто не сможет, никто не вместит стольких знаний. А мы хотим, чтобы их вместил — и сохранил! — семнадцатилетний подросток. Ясно, что это игра, лицемерие и пустая трата сил: каждый выпускник знает, что такие-то предметы он сдает с тем, чтобы через пару месяцев забыть навсегда.

Что делать? Я не педагог и заранее прошу прощения, если предлагаю неразумное. Программа по всем предметам должна быть четко разделена на программу-минимум и программу-максимум — так сказать, на крупный шрифт и мелкий шрифт в учебнике. На выпускных экзаменах школьник должен сдать столько-то экзаменов (по любым предметам!) в объеме программы-максимум и все остальные — в объеме программы-минимум. А педагог — внимание! — должен знать все школьные предметы в объеме программы-минимум и свой собственный —

в таком объеме, чтобы он мог его преподавать. Только если словесник будет знать и химию, и биологию, и геометрию, и географию на минимальном школьном уровне — он сможет, во-вторых, пользоваться уважением школьников, а во-первых, и в-главных, преподавать им свой предмет с оглядкой на другие предметы: не как изолированную науку, а как часть общей системы нашей культуры. Как двести лет назад при Песталоцци, когда один учитель преподавал всё и этим лучше всего обеспечивал культурную преемственность. Сколько может вместиться от всех предметов в голову взрослого педагога — таков и должен быть уровень программы-минимум для школьников.

Конечно, это будут такие начатки, что учителя-предметники схватятся за голову и начнут оплакивать участь своих наук. Но сокращение объемов знания окупится связностью знаний. Конечно, эта связность достигнется не сразу: со стороны ее не возьмешь, предмета «энциклопедия современной культуры» нет ни в каких вузах. Ее придется вырабатывать здесь, в средней школе, и на эту выработку уйдет не один десяток лет. Но она выработается: учителям, вышедшим из педвузов с общими для всех, пусть малыми, знаниями по всем предметам школьной программы, легче будет за двадцать лет найти между собою общий язык, чем старым учителям, узким предметникам, — за двадцать поко-

лений. Ясно, по-моему, одно: пока не сформируются новые учителя — нечего ждать, что изменятся к лучшему ученики.

— Вы как будто хотите, чтобы школьная программа стремилась к тому же, чего хотели вы в «Занимательной Греции»: рассказать обо всем равномерно?

— Пожалуй, да. Знаете, я давал рукопись своей книги разным специалистам, и все отзывались одинаково. Философ говорил: «Философия, конечно, оставляет желать лучшего, а все прочее очень хорошо», искусствовед говорил: «Искусство, конечно, оставляет желать лучшего, а все прочее очень хорошо», и так далее. На этом я и понял, что мне удалось достичь равномерности: сделать такую «энциклопедию греческой культуры» для школьников, какой еще нет для взрослых. Сам я литературовед, и мне приходилось сильно себя сдерживать, чтобы не было перекоса в литературу, но я совсем не жалею об этом.

— Последний вопрос. Говорят, что в школе приучают к инфантильности: все подносят в готовом виде, как будто все за тебя и до тебя уже открыли и решили. У вас в книгах этого нет: всюду видно, что впереди много нового и неизведанного. Как вам удается этого достичь?

— Я все-таки немного историк, а история конца не имеет. Человек когда-то задался очень прак-

тическим вопросом, почему земля твердая, а вода жидкая; он старался на него ответить, но за каждым ответом вставали новые и новые вопросы, все более отвлеченные; решая их, он создал науки физику и химию, сменил в каждой из них по нескольку концепций, но ни одна не отвечала на все вопросы без исключения; так и до сих пор. Если помнить об этом, изучая физику и химию, то будет понятнее, зачем их изучать и зачем это делать именно так, как мы сейчас делаем. Больше того, именно эта история науки (вместе с историей техники, историей религии, историей общественных организаций, историей быта, историей литературы и искусства и пр.) складывается в конечном счете в ту историю культуры, которая, наверное, раньше или позже заменит в школьной программе то, что сейчас называется историей, — толчею царей, полководцев и народных мятежников. Тогда в учебнике не Шекспир будет примечанием к королеве Елизавете, а Гегель и Бетховен к Венскому конгрессу, а наоборот. Но я опять начинаю фантазировать…

2001 г.

О ПОЛЬЗЕ ЛИТЕРАТУРЫ

(из интервью для «Учительской газеты»)

— *Существует ли примат искусства над действительностью? В чем польза литературы? Пушкин предвидел наступление железного утилитарного века. Стихотворение «Поэт и чернь» написано в год рождения Чернышевского.*

— Что «Поэт и чернь» написано в год рождения Чернышевского, никогда не обращал внимания, спасибо: интересное совпадение. А вопрос, по-моему, неточен: вероятно, вы хотели сказать «примат над наукою, техникой, практикой»? «Примат» значит первичность; что действительность первична, а искусство вторично, никто никогда не оспаривал. «Польза» же от литературы есть: она отвечает человеческой потребности в прекрасном. И наука, и искусство делают одно и то же дело: упорядочивают для человеческого сознания бесконечный (то есть беспорядочный) мир действительности. Только наука при этом обращается к разуму человека, а искусство к чувству — к тому точнее не определимому чувству, которое называется «эстетическим».

— Сегодняшняя культура тяготеет к низкому в человеке, а попытки поисков идеала оборачиваются фальшью. Что может дать такому сознанию эллинская культура?

— «Тяготеет к низкому» — по-моему, неточно сказано, вернее — проникает в низкое, осваивает низкое. Фрейд открыл подсознательный мир влечений к непристойному и агрессивному, но Фрейд же показал, как эти влечения сублимируются в высшие формы культуры. Чем лучше мы освоим ступени и приемы этой сублимации, тем цельнее будет наша культура. В античной культуре этой цельности не было: рядом со скульптурой Аполлона стоял Приап с поднятым фаллом, и в честь обоих справлялись праздники в соответственных стилях. Говоря об эллинской культуре, мы обычно или (как в XVIII веке) забываем о том, что в ней было дикого и грязного, или (как в начале XX века) начинаем умиляться на это. И то и другое неверно; свести эти розно лежащие пласты в единый цельный образ античности — очень трудно, над этим и трудимся мы, филологи и историки, то есть проявляем ту же заботу о цельности образа прошлого, какую все остальные — о цельности образа настоящего. А что такое идеал, как не цельность?

— Может ли недопустимое морально быть допустимо эстетически? Как соотносятся мораль и свобода самовыражения?

— Как только аморальное слово или дело начинает восприниматься эстетически, оно перестает восприниматься морально. Порог между этими ощущениями индивидуален. Клюев писал Блоку, что его «Вольные мысли» отвратительны, потому что безнравственны. Я очень далек от Клюева по взглядам и вкусам, но для меня «Вольные мысли» тоже неприятны, потому что я не могу отвлечься от моральной точки зрения, а в других, не менее «безнравственных», стихах могу. Большой, хотя и малоизвестный литературовед Б. И. Ярхо (1889—1942), которого я считаю для себя образцом, обронил едкую фразу: «Агитационная и порнографическая литература потому-то и ощущаются некоторыми как «нехудожественные», что вызывают посторонние эмоции, мешающие чисто эстетическому восприятию». И тут же деловое примечание, что когда агитационная роль произведения забывается, нам ничто не мешает наслаждаться им чисто эстетически. Думаю, что в наши дни — когда одни торопятся обесславить Маяковского за то, что он писал агитки, а другие спорят о границе между художественной эротикой и внехудожественной порнографией — эта реплика звучит вполне актуально.

О моральности и свободе говорить не решаюсь. Я лично считаю, что свободы поступков вообще не существует, а есть только свобода приня-

тия на себя ответственности за невольные поступки. Так царь Эдип невольно совершил преступление, но по своей собственной воле наказал себя за него...

— Утрата интуитивного ощущения связи этого мира с миром тайны, миром метафизики — не потеря ли?

— Прежде всего, тайна и метафизика — не одно и то же: метафизика — это и есть временная замена непознанного (или непознаваемого, кому как нравится). У меня нет вкуса к метафизике, я предпочитаю называть непознанное непознанным. Что же касается тайны, то сейчас вокруг этого понятия настоящий бум, в котором смешивается все самое несоединимое, достаточно посмотреть на уличные афиши и объявления. Это неприятно, и вот почему. Там, где кончается знание, начинается вера, будь то тайна или метафизика. В области знания действуют доводы, сравниваются гипотезы, применяются критерии доказательности. В области веры все это теряет силу: о чем нельзя говорить, о том следует молчать. Современная говорливость вокруг вопросов веры для меня непристойна. Писатель Фейхтвангер — не великий авторитет, но его реплику: «Мне понадобилось четыре года, чтобы научиться говорить, и сорок лет, чтобы научиться молчать» (кажется, так?) — мне хочется напоминать очень часто. Все это совершенно независимо

от вопроса, верующий ли я или неверующий, которого вы мне и не задаете…

— В какую эпоху вы хотели бы жить?

— Я отчасти историк, я представляю себе эпохи без иллюзий: все были ужасны. К нынешней я по крайней мере привык, в ней бы и предпочел остаться.

— Человечество продолжает делить мир на своих и чужих, как во времена апостола Павла, делившего мир на иудеев и эллинов. Вечная ли это проблема?

— Помилуйте! Апостол Павел именно и сказал, что нет ни эллина, ни иудея. А Карл Маркс сказал: «Пролетарии всех стран соединяйтесь!» Христианство идет к своей цели две тысячи лет, марксизм — полтораста, и оба — безуспешно. Но идеал — впереди, практическая его насущность все очевиднее, и человечество его достигнет — или перестанет существовать.

1990 г.

О ПРОВИНЦИИ

(ответ на анкету журнала «Urbi»)

— Что такое «человечность» и «столичность» для Катулла мы знаем; а для вас, в Москве конца XX века?

— «Человечность», — вероятно, то же самое, что и для Катулла: во-первых, разумность в отношении к миру, а во-вторых, уважительность в отношении к людям. Что такое сейчас «столичность», не знаю: тоже, вероятно, то же самое — изящество поведения. Но у меня его нет, и поэтому я предпочитаю о нем не думать и считать его несущественным.

— А что такое провинциальность? И что такое вообще провинция, каково ее место в культурной жизни страны?

— Раз несущественна «столичность», значит, несущественна и «провинциальность»: разницы между людьми по этому признаку я не чувствую. Разве что по части эрудиции: провинциалу труднее у нас добраться до таких-то и таких-то книжек. Но это дело наживное, особенно теперь, когда появились компьютеры и Интернет.

А что касается провинции вообще? Мне кажется, что это понятно. Люди не живут на одном месте. Так было и в прошлом, и в позапрошлом веке. Человек рождался в деревне или в поместье, потом учился в уездном или губернском городе, потом отправлялся в Москву или Петербург: там были университеты, журнальные редакции, художественные выставки. Только Лев Толстой прожил почти всю жизнь в Ясной Поляне, но это едва ли не исключительный случай. В России стоят четыре музея Чехова: в Таганроге, где он родился и кончил гимназию; в Москве, где он учился в университете и начинал писать и печататься; в Мелихове под Москвой, где он прожил семь лет и написал свои главные вещи; в Ялте, куда прогнала его болезнь в последние годы жизни. Так остается след писателя на культурной карте России. И не только писателя — след художника еще ярче. Когда-то художники работали не столько с натуры, сколько по воспоминаниям и по воображению: Айвазовскому, чтобы написать море, не нужно было сидеть с мольбертом на берегу. Но сейчас вряд ли какой художник решится изображать дальний город или дальние горы, не побывав там. По их картинам можно прочитать их творческие маршруты. А писателю думать и чувствовать нужнее, чем видеть. «Иван Сергеевич, да ведь вы и Волгу

не видели!» — удивлялись Тургеневу современники. А Блок, писавший проникновенные стихи о России, бывал в ней, кроме Петербурга, Москвы и имения Шахматова под Клином, только один раз в Киеве, да в мировую войну под Пинском. Ни стихи Блока, ни проза Тургенева хуже от этого не стали.

Есть страны, в которых слово «провинция» звучит обидно, там все культурные силы стекаются в столицу: такова Франция, там писатель или художник может сделать карьеру, только печатаясь или выставляясь в Париже, и лишь заработав славу, он заводит себе провинциальную усадьбу, куда к нему ездят на поклон молодые. Есть страны, в которых слово «провинция» пользуется уважением: такова Германия, она долго была расколота на небольшие независимые государства, каждое со своим университетом (а то и академией) и со своими издательствами; здесь никто не удивляется, если писатель работает и приобретает известность вдали от Берлина, и «провинциальным» его зовут только если он демонстративно пишет исключительно о крестьянском быте своей окраины. Россия занимает промежуточное положение. Петербург и Москва в ней так обжиты культурой, что заслуживают отдельных культурных карт (московское «Замоскворечье» и питерская «Коломна» сразу вызывают яркий об-

раз у любого читателя), но и каждая из ближних и дальних губерний имеет право гордиться: «здесь родился такой-то», «об этих местах писал такой-то», «живописцем этих мест был такой-то». Так складывается — исторически и географически — культурная карта России.

1998 г.

ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ — ДЕТСКИЕ ЦЕННОСТИ

Повышение интереса к вечным ценностям — отчаянная попытка вырваться из исторического релятивизма XIX века и географическо-этнографического релятивизма XX века (свободного капитализма и монополистического), тоска взрослого по простоте абсолютных ценностей детства, «назад к фольклору», где все ценности только вечные. В обстановке ощущения неудавшегося социального эксперимента возникло разочарование в ценностях будущего и желание заморозить ценности прошлого на уровне современного прейскуранта: «пусть будущее как можно более походит на прошлое». Пролетарский национализм, утверждение невозможности взаимопонимания через пространство, побуждает обольщаться взаимопониманием через время: «как веровали правотцы, так должны веровать и потомцы». Вечные ценности — это, как сказал бы Поток-богатырь, наша «потребность лежать то пред тем, то пред этим на брюхе»: история показывает, что такая потребность заслуживает серьезнейшего внимания и уважения.

Вечные ценности — образец «пророчества назад»: тем явлениям прошлого, которые ценятся в настоящем, приписывается важность в прошлом и ценность в будущем. На самом деле выбор их определяется только интересами настоящего. Мы понимаем друг друга лишь настолько, чтобы делать общее дело — семейное, цеховое или государственное. То же и с культурами прошлого: мы понимаем то, с чем мы делаем общее дело. Общее ли? Дело — наше, а Софокла и Пушкина мы гоним на него, как рабов. Наше дело не есть дело Софокла и Пушкина, они писали не для нас, они даже не представляли нас, какие мы есть (не только Пушкин, но и Ленин).

Вечные ценности — средство объединить общество, задав ему готовые ответы для приискания подгонок к ним: «Рембрандт велик; пусть каждый придумает ответ, почему». Это хорошее средство воспитания (не хуже чем всякое другое: заданные уроки нравственности можно вычитывать и из булыжника), но вредное для науки. Как в средние века для человека был принудителен выбор отцовского места в обществе и специальности, так сейчас — выбор языка, религии, эстетического идеала и прочих вечных ценностей. Но они не приведены в столь строгую иерархию. Пока их было мало, они скрепляли. Когда их стало много, они разъединяют. (Наследственная кабала «потомцев» при «правотцах».) Литература перестала быть объе-

диняющей и стала разобщающей: ахматовский литприхожанин не понимает цветаевского, а сурковский — обоих. Вместо нее объединяющей становится критика, филология, служба взаимопонимания. В беседах мы спорим на самом деле не о Шекспире, а о книгах о Шекспире.

Поэтому не надо путать «вечные ценности» и «общие ценности». Все ценности вечны в письменной литературе, любая способна к возрождению; но для кого? Выделяя вечные ценности, мы мысленным вандализмом осуждаем все остальное (погубили Агафона Еврипидом и плачем по Агафону). Есть ритм обращения к тем и иным ценностям прошлого: видимо, это ритм развития культуры то вширь, то вглубь. Делая вдох, не надо думать, что выдох тебе уже не нужен; развивая одни духовные мускулы — что тебе уже не понадобятся другие. Вечные ценности — это магазин готовых шедевров, но это только у нас спрос подчиняется магазину, обычно же — магазин спросу.

И не надо путать в вечных ценностях этические ценности с эстетическими. Вечные этические ценности, несомненно, есть, это те, которые способствуют продолжению существования рода человеческого. А эстетические? Эстетическая ценность — это цельность, а в цельности ли существуют для нас вечные литературные памятники? Для подавляющего большинства читателей и Со-

фокл, и Толстой существуют в переводах, то есть вне языка: «Онегин» для одних читателей существует вне онегинской строфы, а для других — вне проблемы, хорошо или плохо поступила Татьяна; и эти наборы выделяемых мест все время меняются. Мы перечитываем не прошлое, а избранных его авторов; не их, а избранные из них страницы; воспринимая их не полностью, а в тех элементах, которые входят в сегодняшний набор. Каждое поколение по-новому понимает (по-новому обвешивает своими понятиями) миф об Эдипе; раньше это выражалось в том, что каждый поэт писал новую трагедию «Эдип», — теперь в том, что каждый пишет статью с новой интерпретацией старого «Эдипа» Софокла. Что же является вечными ценностями, трагедия Софокла или мифологический сюжет? Можно ли сказать: «вечной ценностью является общий Дон-Жуан Мольера, Пушкина и А. К. Толстого»? Пушкин был ценностью и для Маяковского, и для NN, но это были очень разные Пушкины.

Доказательство этой неценности, то есть неподлинности нынешнего бытования «вечных» эстетических ценностей, — в том, что им не подражают. Известное определение классиков у Уайльда: «те, которых почитают, но не читают». Подлинной ценностью были аттические ораторы для второй софистики; китайские классики для китайских послеклассиков; Ахматова и Цветаева для нас:

им подражали. Подражаем ли мы Толстому? — немного; Пушкину? — не больше, чем Сумарокову. Значит, это для нас не вечная, а музейная ценность: зайти, отвлечься, вернуться к своим делам. Вечные ценности канонизированы для контраста, а не для сходства с действительными. Отсюда двуличие современной школы, которая учит на классиках таким современным мыслям, под которыми не подписался бы ни один классик; отсюда страдания современного театра между «классика нужна», «современность нужна» и «касса нужна». Культурная политика вульгарно-социологических времен была честнее, объявляя литературу прошлого лишь черновиком литературы будущего и извлекая из этого черновика лишь предвестия социалистической революции. Это лучше, чем нынешнее двуличие: чтим одно, следуем другому.

Еще одно доказательство — противоречивость существующего набора вечных ценностей. Мы чтим Пушкина вместе с Писаревым и Толстого вместе с Шекспиром: видимо, в исторической перспективе ощутимо лишь поколение отцов, а деды для нас уже сливаются с прадедами. В то же время, чтя Чернышевского, как он чтил Полевого, мы уже считаем себя вправе не чтить Полевого. Из античности мы чтим все подряд: Гомера рядом с таким ширпотребом, как эпиграммы и «Дафнис и Хлоя»; мало у кого хватает духу делить античные памят-

ники на хорошие и плохие. Канон вечных ценностей — не данность, не умиляться на него нужно, а дорабатывать его... Практика официального производства в классики с юбилейными переаттестациями процветает на наших глазах, мы к ней серьезно не относимся.

Принудительный канон вечных ценностей труднее навязать взрослым, но легко и общепринято — детям. Во всех традиционных обществах так и делается. Средство этого — антологические своды («Палатинская антология», собрание речей десяти аттических ораторов, китайские антологии), читаемые как целое, обрастающие унифицированным комментарием и служащие примером для практического подражания. У нас последними антологиями такого рода были, кажется, «Собрание образцовых русских сочинений в стихах и прозе» и хрестоматия Галахова; потом на смену иерархическому восприятию литературы пришел исторический, и набор вечных ценностей рассыпался. Создать такой осмысленный свод для культуры будущего — задача исключительной важности и сложности. Потому что канон должен быть открыт в современность, быть предметом подражания; а это требует исходить из не совсем привычных предпосылок: «что дозволено классикам, то дозволено и нам» и «классика — только то, что интересно». Оговорка: интерес есть тоже предмет принудительного насаждения, интересно — не значит легко. Наоборот,

что без труда — то не классика; поэтому протест против трудных модернистов неоправдан, и они годятся в классики, был бы декрет. (Может быть, модернизм — это и есть погоня за трудностью как за признаком классики?) Культура — это то, что передается инерцией садизма, первой каторгой детства, дорогой, как бессмысленные сложности орфографии: «неужели я зря это учил?..» Вроде школьной латыни или шумерского языка.

Вечные ценности — это в детстве усвоенные ценности, воплощение периодической тоски взрослого по детству. (В наши дни обычно по детству конца 30-х — начала 50-х годов, когда было время очень твердых ценностей.) Детские ценности тоже иные, чем взрослые, но противоречат им меньше, чем пассивно чтимые «вечные» активно творимым современным. Взрослый не стыдится, что не перечитывает Чуковского, но стыдится, что не перечитывает Шекспира; а стоит ли этого стыдиться? Помнить детского Михалкова и делать (подставьте любое ультра-модернистическое имя) — легче, чем помнить Пушкина и делать взрослого Михалкова.

Есть закономерность: классические памятники взрослой литературы спускаются в детскую и продолжают в ней быть массовым достоянием. Больше всего повезло здесь античности, упростившейся до пересказанных мифов. А из Пушкина в нас глубже (так сказать, «вечнее») сидят не «Онегин» и «Годунов», а сказки и «Буря мглою...». Замечательная идея

Маршака в Лендетиздате подарила нам детские пересказы Рабле, «Уленшпигеля», «Ласарильо» и «Нильса Хольгерсона», которые дали русской культуре больше, чем переводы для взрослых. Между тем как полные издания нынешней «Детской библиотеки» способны убить даже Вальтера Скотта. Около 1924 года в серии классиков, адаптированных для начинающего рабочего читателя, были выпущены «Отверженные» Гюго, сокращенные примерно в пятнадцать раз — и дух Гюго там сохранился в каждой строчке; делал эту книжку К. Федин. Это начало антологии вечных ценностей для младшего возраста, за которой должна последовать еще не начатая — для старшего возраста.

Во всемирном муравейнике будущего общества выбор художественного вкуса будет, по-видимому, так же свободен при начале и закреплен пожизненно, как сейчас выбор профессии. После анархии письменной литературы это будет возвратом к традиционности фольклорных систем, но в усложненном виде: с разветвленными вариациями. Сейчас в мировой культуре идет формирование именно таких вариантов — выборок из местных культур, из старых локальных традиций для новых глобальных условий. Мы хватаемся за старые наборы вечных ценностей местных культур, но и нам не избежать того же пути.

1999 г.

О ШЕСТИДЕСЯТНИЧЕСТВЕ И ЭКЛЕКТИКЕ
(из анкеты для «Новой газеты»)

— *...Шестидесятничество как эстетический источник: каковы границы его эпохи, его персональный состав, вклад в литературу?*

— То, что обычно называют шестидесятничеством — явление идейное, а не художественное. С художественной же точки зрения так, вероятно, следует называть все, что было в поэзии выходом за пределы очень узкого стандарта позднесталинских лет. Таким выходом были и Евтушенко, и Бродский, хотя шли они в противоположные стороны и друг друга терпеть не могли. Между ними — весь остальной «персональный состав». А временные границы? Биологически — до тех пор, пока живы те, кто помнит сталинское время. А эстетически — это можно будет определить (и то со спорами) лишь через поколение после нас.

— *Шестидесятники уже исчерпали себя; уже исчерпывают себя и сменившие их постмодернисты. Нельзя ли рассматривать это как кризис современного скептицизма? Уникальна ли эта ситуация или обычна для смены эпох?*

— Эклектичны (многослойны) все без исключения культуры: пережитки старого перемешаны в них с зачатками нового, и только через сто лет можно, оглянувшись, отделить одно от другого и ретроспективно создать отретушированно-цельную картину «эпохи» и «смены эпох». Каким цельным нам кажется «серебряный век» и каким кризисным он казался его деятелям! Если реакцией на «кризис скептицизма» будет христианский фундаментализм, национализм или иная спешно фабрикуемая поголовно «российская идея» — я не хотел бы до этого дожить. А вот кого вы считаете рационалистами и иррационалистами, шестидесятников или постмодернистов, — об этом вы когда-нибудь сами мне расскажите...

— Действительно ли ирония, пародия, стилизация — необходимый элемент всякой настоящей литературы, как утверждал Набоков? или это просто скоморошии глум в исполнении переодетых профессоров?

— Ирония, по словарному определению, это когда говорят одно, а думают противоположное: когда ослу говорят «откуда, умная, бредешь ты, голова?» Все слова нашего языка выдуманы до нас и не для нас, все они неполностью соответствуют нашим мыслям, всякий пишущий должен отдавать себе в этом отчет: Набоков имел в виду именно это. В литературе (и в философии тоже) чередуют-

ся эпохи, когда пишущий бравирует этим несовпадением и когда он по мере сил его преодолевает. Сам Набоков отнюдь не только иронизировал и пародировал: он умел и добиваться точности слов, и с большим успехом. Вы сказали, что постмодернизм уже выходит из моды, — значит, следующее поколение будет искать язык неощутимый, прозрачный, как в просветительском XVIII веке. А пока он не вышел из моды, читатель волен воспринимать иронически что угодно, хоть «Анну Каренину». Специалисты по Платону мне говорили, что серьезные толкования самых высоких мест Платона так накопились и так всем надоели, что иные считают, будто он в них лишь издевается над читателем. Ирония перед нами или не ирония — обычно очень трудно доказать...

— *Сейчас общепризнанной иерархии ценностей в культуре нет... Что важней для будущего: истеблишмент, мейнстрим или маргиналии?*

— Маргиналии — это явления на обочинах мейнстрима, одно без другого не существует. Для современников культура — это и мейнстрим, и истеблишмент... Маргиналы же делают наброски для истеблишмента следующего поколения, всяк на свой лад. Самые умные стараются придать своим наброскам законченность истеблишментного гранд-арта (прошу прощения за чужеязычие) . Сезанн говорил: «Я хочу писать, как Бугро!» Кто сей-

час помнит Бугро? Я, по счастью, помню. Есть ли в нашей нынешней литературе Сезанны — не знаю…

— Литературный журнал уходит в прошлое. Что будет с журналом, с книгой в новый электронный век? Придется ли литературе перейти на иные материальные носители? Или мы находимся в конце прекрасной эпохи, за которой воцарится бессловесность?

— В толстых журналах, в сборниках стихов, даже в романах каждому из нас была близка и просила перечитывания хорошо если пятая часть: остальное было балластом. Новый век позволяет выбросить балласт и каждому окружить себя литературой, отобранной только по собственному вкусу. В мозгу у нас два полушария, одно с синтетическим восприятием мира, другое с аналитическим, словесным. Пока это второе работает в нас, будет и словесность — на тех носителях, которые ближе душевному складу каждого. А мы, филологи, будем за этой игрою вкусов с интересом следить.

2002 г.

О СОВРЕМЕННОМ АВАНГАРДЕ И ТАЛАНТАХ

(из анкеты для журнала «Комментарии»)

— *Ваше отношение к современному русскому авангарду? Насколько он оправдан?*

У современного авангарда в стихах и прозе трудное положение. Массовый читатель его не читает, потому что трудно, а подготовленный — потому что скучно: все время кажется, что ты уже читал что-то похожее по-английски или по-испански… не покидает ощущение: «где-то это уже было»…

— *Действительно ли современная литература беднее талантами, чем, скажем, в 70-е годы? Или воздух 90-х менее пригоден для творчества?*

— Талант — это ведь понятие не количественное, а качественное: кто был талантливее, Дельвиг, Шершеневич или Исаковский? У каждой эпохи свои таланты, изнутри эпохи они кажутся то менее значительными, то более значительными, чем извне. Каждой эпохе хочется самоутвердиться, и она нервно беспокоится, что у отцов и дедов было лучше. Уверяю, что в 70-е годы писатели жаловались на удушающий воздух еще больше, чем нынешние — на разреженный.

2003 г.

ИЗ ДРУГИХ ИНТЕРВЬЮ, АНКЕТ, ВЫСТУПЛЕНИЙ

* * *

Маркс был по воспитанию романтик, а по мировоззрению позитивист. Когда он осуждал отчуждение в современном производстве, он, вероятно, представлял, что в доклассовом, а тем более послеклассовом обществе каждое словесное произведение принадлежит всем и каждому, как народная песня. Надо бы переспросить фольклористов, чем нынешнее представление о бытовании народной песни отличается от романтического. Главным будет, вероятно, уточнение двусмысленного представления «всем и каждому». Я плохо понимаю Маркса. Что для меня менее отчуждено, больше «пропитано мной»: сюртук, который я сшил, вынес на рынок и продал незнакомцу, или сюртук, который я купил у незнакомца и проносил всю свою жизнь? Когда я говорю: «Пушкин непонятен нам, как камень», я не отнимаю у нас Пушкина. Для геолога камень понятен, потому что геолог изучил его язык; вот так и Пушкин будет нам понятен, если мы изучим его поэтический язык, по которому, к сожале-

нию, нет учебников. Кто предпочитает любить Пушкина, не зная его языка, тот любит в «своем родном» сюртуке не его покрой и ткань, а свой пот и запах. У Маяковского в «Бане» есть английские фразы, написанные русскими словами (об этом была статья в одном фестшрифте Якобсону): very well, very badly переводится «в дверь ревел, а звери обедали». Вот так мы рискуем понимать — «осваивать» — любой текст чужой культуры, если не хотим изучать его язык сознательно. Пожалуй, это сравнение нагляднее, чем гальванизация трупа.

* * *

Предметы природы и произведения культуры (прошлой или чужой) одинаково далеки от нас и первый подступ к ним одинаково объективен. Разница начинается там, где мы в произведении культуры начинаем отождествлять себя с его героями или (если это, скажем, картина природы) с его творцом, — тогда как с камнем или с Богом, сотворившим камень, мы обычно себя не отождествляем (в средние века отождествляли). Это искажает нашу объективность, окрашивает ее эмоциями, оценками и т. д. Интересны промежуточные случаи: когда профан читает учебник медицины или психологии и переживает описываемые там казусы, или когда натурализм предлагает свои романы как казусные пособия к социологии и психологии. Кто-то гово-

рил: «Мы сопротивляемся анализу словесного материала, а химик не сопротивляется анализу природного». А вот в средние века, кажется, богословы предпочитали вычитывать истину именно из анализа словесных священных текстов, а не из анализа природы. Чередование отвращений?

Граница между природным и искусственным все больше сменяется границей между данным и новым. Какую природу рисует ребенок, впервые взявший карандаш? Домик. Искусство прежних эпох для нас такая же данность, как природа, исторический подход к ней — проблема вроде космогонической.

* * *

Из письма:

...Карабахский погром сперва только ужаснул меня, а поведение Москвы — уже возмутило. Я аполитичный человек, но когда через несколько дней «Правда» написала, что в Баку — антиармянские демонстрации, и это плохо, а в Ереване — подозрительное спокойствие, и это еще хуже, то я единственный раз в жизни написал письмо в «Правду»; что с ним стало, не знаю. А сейчас, когда я это пишу, прошло только полтора месяца после погромов в Вильнюсе и Риге. В одном рассказе Бабеля старый еврей говорит: «Почему никто не придумал

устроить интернационал хороших людей?» Вероятно потому, что слишком много плохих людей стараются этому помешать. Ленина нынче принято ругать; но я уверен, что при первой вести о Карабахе Ленин в 24 часа распустил бы Советский Союз и организовал бы его заново, на новой основе. Вместо этого через полмесяца мы будем голосовать по референдуму, над формулировками которого будут смеяться наши внуки.

Бертольд Брехт писал: «Не убеждайте человека, что он хороший; сделайте такое общество, чтобы ему было выгодно быть хорошим». В газетах сейчас самое частое слово — рынок. Но чтобы продавать и покупать, нужно производить, а чтобы производить, нужно, чтобы человеку было интересно работать. Мне повезло: я всю жизнь работал по специальности. Но, как и всем, на службе чаще всего приходилось делать то, что нужно, и только урывками — то, что хочется. Я научил себя заинтересовываться и тем, чего не хочется, — это помогало работать. Если бы у меня был герб, я бы взял девизом щедринскую формулу: «Возьми все и отстань». Но навязывать такое жизнеотношение другим я не хотел бы — люди заслуживают лучшего.

Моя дочь родилась в год XX съезда, сын — в год ухода Хрущева. Она занимается детской психологией, он работает редактором. Мне нравится то, как говорит моя дочь; и то, как пишет сын. Пе-

чалиться тоже приходится, но ведь дети не должны быть похожими на нас. Они имеют право на свое жизнеотношение, нравится оно нам или не нравится.

Вот и все. Весь Ваш М. Гаспаров
2.03.91

* * *

...Сейчас печатные книги сменяются электронными, а библиотечные фонды срастаются в Интернете. Некоторые говорят, что книжной эпохе культуры настал конец. Это не так: пока люди пользуются письменностью, у них будут и книги. А какую форму они будут иметь, чтобы лучше нести свою службу, это будет решаться снова и снова. Центром, где будут определяться пути новой книжности, должна стать новая Александрийская библиотека. Старая была всегреческой, новая будет всемирной. Между ними вмещается вся история нашей книжной культуры — той, без которой мы не были бы такими, каковы мы есть.

2002 г.

О ЖИВЫХ И МЕРТВЫХ ЯЗЫКАХ
(из анкеты для детского журнала «Клепа»)

— *...Древнегреческий и латинский языки называются мертвыми. Почему?*

— Потому что живые люди сейчас на них не разговаривают, а только читают книжки. Языки ведь меняются: появляются новые слова, по-новому произносятся старые, изменяются даже склонения и спряжения. Ученые говорят, что за тысячу лет любой язык изменяется почти до неузнаваемости. А древнегреческому и латинскому языкам уже больше двух тысяч лет. Потому они и считаются мертвыми. А написанные на них книги — по-прежнему живые, и очень интересные. Только чтобы понять их, нужно выучить их язык. А чтобы поделиться этим пониманием, нужно сделать хороший перевод. Вот я и стараюсь.

— *А можно оживить мертвый язык? Может быть, это было бы интересно?*

— Можно, но очень трудно. Например, удалось оживить древнееврейский язык (хотя все-таки со многими изменениями), теперь это иврит, государ-

ственный язык Израиля. А вот ирландцы давно хотят возродить свой древний кельтский язык, чтобы не говорить на языке англичан, которые много веков их угнетали, — и все-таки у них ничего не получается.

— А какие языки самые живые? Какие больше всего знают, изучают? На каких легче всего поговорить с иностранцами?

— Наверное, таких языков шесть: английский, французский, испанский, русский, арабский, китайский. На этих языках издает свои документы Организация объединенных нации — ей ведь нужно, чтобы их читали во всем мире. А вообще в разные века было по-разному. В «поповском» средневековье все важные бумаги в Европе писались на латинском языке, хоть он был давно уже мертвый. В «дворянском» XVIII веке самым распространенным языком был французский. В «буржуазном» XIX—XX веке его сильно потеснил английский. А когда коммунисты готовили мировую пролетарскую революцию, им был ближе всего немецкий — язык Маркса и Энгельса. До войны у нас в школах гораздо больше изучали немецкий, чем английский, а сейчас наоборот.

— А русский? Насколько его изучают за границей? Каких русских писателей там лучше знают?

— Там к нашему языку интерес прежде всего деловой. Когда у нас в 1957 году запустили первый спутник, то во всем мире бросились изучать русский язык, чтобы следить за передовой советской наукой. А когда американская космонавтика догнала нашу, то интерес к русскому языку сразу упал. Началась перестройка и демократия — интерес к русскому опять вспыхнул; а прошло несколько лет — и опять его изучать стали меньше. Но, конечно, всегда есть люди, которые любят и хотят знать русскую культуру, русскую литературу (если не по-русски, то хоть в переводах). Хорошо знают и ценят Достоевского, Толстого, Чехова. А вот Пушкина — меньше. Потому что в Пушкине самое замечательное — точность, с какою он владеет тончайшими оттенками языка. В переводе это пропадает, и даже в подлиннике это слышно только тем, кто очень-очень хорошо знает русский язык.

— *Все-таки трудно знать много языков. Может быть, удобнее было бы придумать единый язык? Как вы относитесь к эсперанто?*

— Очень хорошо отношусь; переписываться с приятелями из других стран на нем, наверное, удобно. Но ведь мы учим языки не только за этим. Нам хочется через язык узнать чужую литературу, чужую культуру, с ее стариной и новизной, посмот-

реть, что в ней похоже на нашу, а что нет, поучиться у нее. А язык эсперанто молодой, ему всего сто лет, за ним еще нет своей большой литературы и культуры. Вот если придет большой писатель, который всю свою жизнь и весь свой талант положит на то, чтобы писать не на родном языке, а на эсперанто, — тогда, может быть, читать на эсперанто станет интереснее.

2001 г.

* * *

Демократия: волки сыты, а овец не спрашивают.

* * *

Выборы. А что выборы? Выбирать-то будем между одним хреном и несколькими редьками.

* * *

СССР был не тюрьмой народов, это, скорее, была коммунальная квартира народов.

* * *

Современным культурам не хочется растворяться в мировой, и они националистически ругаются.

* * *

Из газеты: «Почему мы умеем делать только историю, и больше ничего?» Вопрос риторический.

* * *

В начале перестройки главной радостью была мысль: «Как много у нас, оказывается, есть политиков!» А теперь, глядя на общую борьбу, мучишься мыслью: как мало у нас политиков для такого большого народа.

* * *

Смотреть на политику, конечно, противно; но разве это не всегда и не везде? Самое же главное: народ, по-моему, стал спокойнее, ничего ни от кого не ждет, каждый старается выжить сам по себе и меньше слушает политиков. Даже если власть захватят националисты или фашисты, они продержатся недолго: на баррикады за них никто не пойдет. Развал государства, кажется, кончается, но государственная нищета, при которой если заплатить шахтерам, то не хватит врачам, а если заплатить врачам, то не хватит солдатам, — это больно и трудно, и осознавать этого никому не хочется. Я не политик и не знаю, какой вариант пути лучше. Но я словесник, и я вижу, что разговаривать с народом у нас никто не умеет и не хочет.

* * *

Жириновский не так страшен, как многие думают: скорее, он демагог и пустослов, и движет им не программа, а личное тщеславие. Но когда так

много измученного народа готовы пойти навстречу любым демагогическим обещаниям, это страшно и опасно. Я не экономист, я не знаю, как спасать Россию; но я филолог, мое дело — слово, я понимаю, как важно говорить с людьми на понятном им языке, и мне больно видеть, что этого никто, кроме Жириновского, не умеет. Старой, сталинской технике пропаганды разучились, а новой, демократической не научились.

* * *

Черномырдин сказал: «Мы были, есть и будем: только этим и занимаемся». Он же: «Прогнозы строить трудно, особенно на будущее».

* * *

В «Комсомольской правде» от 15 декабря 1990 написано, что в Чите организовано общество «За выживание» в помощь бедствующей советской медицине. Можно было бы расширить смысл названия и вступать в него поголовно.

* * *

А японцы после войны выросли в среднем на 10 см (видимо, чтобы не страдать неполноценностью в мировом сообществе). Ламаркисты говорят: от волевого напряжения; а дарвинисты: оттого, что кушать лучше стали благодаря японскому чуду.

* * *

«Нам нужны не великие потрясения, но великая Россия» — первым сказал вовсе не Столыпин, а член совета Министров внутренних дел по фамилии И. Я. Гурлянд («Отеч. ист.», 1992, № 5, с. 166).

* * *

Как только Ельцин открыл глаза после операции, он попросил ядерный чемоданчик, как будто боялся, что третью мировую войну начнут без него. На больничной койке он подписал указ о том, чтобы 7 ноября было «праздником согласия и примирения».

* * *

Интеллигенция не может простить Ельцину, что ее не перевешали. «Да, — сказала М. Чудакова, — есть такая вещь: комфорт насилия, интеллигенция все не может от нее отвыкнуть».

* * *

Ельцин, расстреляв Верховный совет, велел отреставрировать Кремль. Как? «Чтоб было державно». В главном зале было три трона — для царя, царицы и вдовствующей царицы. Их отыскали в Петергофе и Гатчине, но выцарапать у музейщиков не смогли. Сделали идеальные копии, а потом стали думать: кого же на них сажать? И на инаугурации прикрыли драпировкою.

* * *

В. Шендерович, комментируя в своей передаче «Итого» очередные политические дебаты, обронил: «...то ли дело при Павле I: пришел к нему Зубов с представителями от общественности, и за три часа — полный импичмент. Семья была в курсе».

* * *

«Россия гибнет не от злоупотребления, а от исполнения каждым своей должности» (потому что каждый сидит не на своем месте), — А. Жемчужников в записной книжке.

* * *

Островскому сказали, что «Грозу» перевели во Франции, он удивлялся: «Зачем? для них ведь это — XIV век». Стивен Грэм, английский славянофил, исходивший пешком Россию и ходивший по Лондону в косоворотке, объяснял свое умиление: «Там все — как у нас при Эдуардах!» — то есть тоже в XIV веке. Кто удивляется на то, что у нас сейчас происходит, пусть прикинет: прошло сто лет? — какой у нас нынче век? — XV. То-то. Кстати, тогда тоже поджигали тех, кто выбивался из цеховых уставов обязательного равенства

* * *

Из газеты я понял, что Буш свел все дело к войне не с терроризмом, а с Афганистаном: выиг-

рать такую войну тоже нельзя, но изобразить, будто она выиграна, можно, этим дело и ограничится. А понять, что происходит, русскому человеку проще, чем иному: два слова, «всемирная Чечня» (дек. 2001).

* * *

«Дисциплинированный энтузиазм», возбуждаемый монархом в русском народе, — выражался публицист Ник. Данилевский в конце XIX века. Позже роль такого возбудителя взяли на себя партия и правительство. А сейчас?

* * *

Субъективная оценка — «мне нравится», объективная — «начальству нравится». Вместо начальства теперь принято говорить: «референтная группа».

* * *

Кроме извечного терпения русский народ всегда отличался неприхотливостью к начальству.

* * *

«Русские проявляют свои способности скорее в умении пользоваться плохими орудиями, нежели в улучшении их» — писала «Русская старина» еще в 1892 году.

* * *

«Корабли Тихоокеанского флота даже выходят в дальние походы, как говорят офицеры, вопреки реальности», — сказал командующий флотом по телевидению. Как будто вся Россия существует не вопреки реальности.

* * *

Военную психологию в России стали разрабатывать только после русско-японской войны, рассудив, что причины поражения в ней — конечно же только психологические.

* * *

При Пушкине «писать для себя» и «печатать для денег» можно было одни и те же вещи, теперь только разные.

* * *

В электричку сел пьяный парень и стал поносить евреев. Соседняя старушка спросила: «И Горбачев еврей?» — «И Горбачев, и Раиса». — «И Лигачев?» — «И Лигачев». — «А ты сам?» — «Не еврей, но хочу в Израиль».

* * *

Перед метро «Арбатская» — стоит православный пикет, плакаты с ерами: «Без истинного пока-

яния проклято всякое голосование», причем с указанием источников: Ион. 7, 48—49; Ис. 30, 1—3.

* * *

Когда Хрущев ехал в дружеский Афганистан, Александрову и Адалис велели срочно подготовить антологию афганской поэзии! «А подстрочники?» — «Сами сочините». Сделали и издали за две недели, Хрущев вручил, китайцы спешно перевели на китайский, афганцы перевели с китайского, все были довольны. Полезный опыт!

* * *

В. П. Григорьева инструктор горкома партии спросил: «Вы правда считаете «Один день Ивана Денисовича» хорошей книгой? ведь он пассивен: почему он не протестует, не борется?» Григорьев сделал большие глаза и сказал: «Он же помнит, что это наш лагерь, а не фашистский». Инструктор сделал неинтересное лицо и сказал: «Ах, да, я забыл».

* * *

Жаль, что в описании внешности О. Мандельштама в НКВД говорится «рост средний», без сантиметров и снимка в рост, как при царе, и отсюда столько споров. Это потому, что при царе была задача повторно найти преступника, а НКВД управлялся за один раз.

* * *

В 9-м томе Краткой литературной энциклопедии исчезли справки «репрессирован — реабилитирован», но о писателе Франк-Каменецком специально оговорено: умер от несчастного случая (потому что умер 21.04.1937)

* * *

Оксман как-то сказал: «Я служил большевикам не за страх, а за совесть, но не доверял им ни минуты. А другие служили за страх, но верили. Поэтому я выжил, а они нет». И. И. Халтурин говорил: «Беда Зощенко в том, что он, хоть и дворянин, и штабс-капитан, был совершенно советский человек и верил в справедливость. А Ахматова твердо знала, что писателю ничего хорошего никогда не бывает.

* * *

Муж поэтессы Марины Цветаевой, благороднейший человек, в эмиграции стал агентом советской разведки: получал деньги от НКВД, участвовал в политическом убийстве. Как он мог? Те, кто недоумевают, забывают, что он был офицер, он знал, что на войне обманывать и убивать своих неэтично, а врагов — этично: иначе не выживешь ни сам, ни твои «свои». А «своих» он выбирал по одному принципу — за слабых против сильных. В 1918-м он не разделял идей белой гвардии, но примкнул к ней, потому что она была слабее, чем красные; в 1930-м

он не разделял идей коммунистов, но примкнул к ним, потому что Россия была слабее, а капиталистическое окружение сильнее (об этом тоже забывают).

* * *

Каменную старуху Веру Фигнер робко спросили: «А если бы вам удалось победить — что тогда?» Она ответила: «Созвали бы земский собор, учредительное собрание, оно приняло бы конституцию — убогую, скаредную, мещанскую; и мы бы поклонились и отошли прочь, потому что это и была бы народная воля».

* * *

Щедрин, отвечая благодарностью на аллегорическую картинку, поднесенную студентами к юбилею, писал: «Только вот на горизонте у вас просвет виднеется; я понимаю, что это по жанру так положено, но мы-то с вами знаем, что на самом деле никакого просвета нет». Если не помнить об этом чувстве обреченности, нельзя понять русскую революцию.

* * *

Думали, что революция повернет на 180 градусов, а она повернула на 360.

* * *

Моды меняются: на смену деструктивизму идет феминизм. В России нет для него почвы? Тем

страшнее: для пролетарской революции в России тоже не было почвы, а что вышло?

* * *

Когда-то при мне сравнивали Булгакова и Мандельштама. «Непохожи, — сказал Вячеслав Всеволодович Иванов, — Мандельштам мог принять революцию, но не мог Сталина, а Булгаков мог принять Сталина, но не революцию». Это натяжка, но любопытная: оба кончили жизнь произведениями о Сталине, но у Мандельштама «сталинская ода» получилась очень хорошим и сильным стихотворением (Бродский прямо говорит: гениальным), а у Булгакова «Батум», кажется, посредственная пьеса (говорю «кажется», потому что раскрывал, но не читал). Мандельштам сумел уверить себя, что Сталин и революция — одно, а революцию он, действительно, принял.

Пожалуй, про себя я чаще сравниваю Булгакова не с Мандельштамом, а с Платоновым. Стиль Булгакова я люблю больше, но душевно Платонов мне ближе. Революция ужасна у обоих, но Платонов не ненавидит ее оголтелых героев, а жалеет их; а Булгаков ненавидит, и ненавидит со вкусом и наслаждением. А я не люблю тех, кто упивается ненавистью. От этого бывает очень дурная инерция бесконечного взаимоистребления.

* * *

По анкете «Московских новостей» (1991 г.) 32% опрошенных не слышало слова «диссидент». Тогда же «Комсомольская правда» писала, что многие поступавшие в вузы считали, что Солженицын и Сахаров — один и тот же человек.

* * *

А мне Солженицына жалко. Я видел по телевизору интервью с ним после его возвращения в Москву — он держался живо, взволнованно, совсем не как учитель и пророк, и был даже привлекателен. Но передовые люди не будут его слушать, а реакционеры будут объявлять его своим, — зачем ему это? «Один день Ивана Денисовича» — рассказ гениальный, а «Архипелаг Гулаг» — подвиг; но все, что он пишет про историю русской революции, с художественной стороны (мне кажется) посредственно, а с научной — наивно.

* * *

Не могу простить Солженицыну обидного слова «образованщина». Без этой образованщины (а по-старинному говоря, просветительства) ни в России, ни в Африке — нигде ничего не получится.

* * *

В газете сказано, что из русского языка в европейские, кроме общеизвестных samovar и pogrom, перешло еще одно слово: khaljava.

* * *

Горький — замечательно интересная фигура. Сейчас его не любят (как и Маяковского) за его советскую официальную славу и только обсуждают, убил ли его Сталин или не убил. Но когда о политике забудут и займутся им как писателем, то найдут много очень интересного.

* * *

Горький писал сыну: «Нет злых людей, есть только обозленные». За эту фразу многое можно ему простить.

* * *

Не может же быть адом такой большой, устроенный, устойчивый мир. Конечно, он хорош, только пока не под микроскопом, пока не видишь, как мошки пожирают мошек, а кислоты и щелочи грызутся друг с другом.

* * *

Духовность при желании можно видеть везде: в черной избе она для одного есть, для другого нет, в Древней Руси для славянофилов есть, для западников нет. Это просто такое антибранное слово.

* * *

Греческий полис не допускал человека до страха смерти — приучал отдавать жизнь за дом, род, город и пр.; когда полис пал — стоики учили уми-

рать за мировой закон. Лишь в новое время нестыдным становится страх смерти, как потом нестыдным становится обнажение секса и т. д. Стыдным становится стыд.

* * *

Безнаказанность (по словарю А. Бирса) — это «промежуток между преступлением и наказанием». Но иногда он настолько затягивается, что преступник успевает умереть безнаказанным и тем подать дурной пример другим.

* * *

Мы начинаем познавать себя, прикладывая к себе чужие мерки (многие на этом и останавливаются); потом находим свою; а потом (немногие от этого удерживаются) начинаем прилагать ее к другим.

* * *

Когда стараются сочинить новую «российскую идею», это напоминает, как американцы в XIX веке сочиняли себе национальные обычаи, например — есть с ножа.

* * *

Свобода была благом, когда высвобождаемые силы личности обращались на природу, и стала злом, когда обратились на общество. Тоска по борьбе с природой: за полюс, за космос и т. д. — ради того, чтобы почувствовать свободу сил вновь как благо.

* * *

Жалуются, что Евгений в «Медном всаднике» из-за государства лишился места в жизни, и не замечают, что государство же и дало ему место в жизни — регистраторский чин по табели о рангах. Евгений попал в ту самую щель между природой и обществом — общество недозащитило его от природы. Только до романтиков жертва жаловалась на природу, а теперь жалуется на общество.

* * *

Додумывать за стихотворением поэта — такая же привычка, как видеть за природою Бога. За одной и той же природой все культуры видят разных богов.

* * *

Статистика у нас в основном типа «раз-два-много», но иногда и из нее можно почерпнуть интересные, хотя и не радующие, сведенья. Например, в 1979 году через вытрезвители проходило 17 млн. человек, по 46 тыс. в день, 1% всего городского населения в месяц; а в 1996-м половина жителей России не прочитала ни одной книги. В. Виноградов говорил: «Мы любим гордиться размахом: нам скажут обидное, а мы в ответ: «Зато у нас одних неграмотных больше, чем все население Дании».

* * *

Я возвращался из заграничной командировки, опасаясь: вдруг за полгода история ушла так дале-

ко вперед, что я вернусь совсем в другую страну? Но, оглядевшись, понял: нет, все изменилось лишь в пределах предсказуемого. «Так ли? — усомнился коллега — По-моему, история ушла очень далеко, но по очень однообразной местности».

* * *

Старшеклассникам в канун 2000 года задали сочинение на тему «Каких изменений я жду в XXI веке». Большинство написало: ничего серьезно не изменится, а в середине нового века опять будут строить коммунизм.

* * *

Родители учат детей ценностям своей жизни, как военные готовят войска к вчерашним войнам.

* * *

Вырастили, дали все, что могли, и внушили отвращение ко всему, что дали.

* * *

Воспитание, по определению миссис Пипчин, — это чтобы дети не делали того, что им нравится, и делали то, что им не нравится («Домби и сын»). Цивилизация как инерция садизма.

* * *

Подросток в своем развитии растянулся, как поезд, и изнемогает, бегая вдоль себя от головы к

хвосту. Важно вовремя сказать ему: быть как все — значит быть хуже, чем каждый.

* * *

Криминолог Н. Гернет писал: «Воспитание человека начинается за сто лет до его рождения».

* * *

«Аппроксимация» — этим ученым термином называется официальное снижение требований в школьной программе по иностранным языкам. По-русски это значит: не знаем и знать не будем.

* * *

Митрополит Филарет Белорусский был сыном левого художника, а сам до семинарии закончил музыкальную школу по контрабасу. Собирался ввести на филфаке Минского университета параллельно с курсом литературы XIX века курс «Христианство в русской литературе». Ему возразили: даже при коммунистах не назначали параллельного курса «Пролетарская история русской литературы» .

* * *

По Канту переживалась в детстве действительность при Сталине: видели одно, говорили другое, но это было не противоречие, а различение феноменального и ноуменального плана («мира общего» и «мира единичного»): отдельные недостатки

сами по себе, прекрасная суть сама по себе, даже если недостатков тысячи. («Считалось, что изучать то, что мы видим своими глазами, — уже не марксизм», — сказал один социолог.) Но, собственно, так ведь устроен и весь Божий мир: вероятно, за тем, что мы видим, стоит что-то более важное, чего мы не знаем по недостатку информации, но принимаем на веру. В философии и религии такое отношение культивируется, а в политике почему-то осуждается.

* * *

«Философия была наука, а теперь дисциплина», — сказал преподаватель марксизма.

* * *

Я приготовил подборку стихов Марии Шкапской со вступительной статьей; у дочери поэтессы была знакомая в журнале «Москва», отнесли в «Москву». Долго ждали, потом мне позвонили из редакции: предложили снять «Алексея II» и «Последний жид...»: «Знаете, сейчас, когда одни шумят против царского расстрела, а другие — за (?), — несвоевременно...» Я обратил их внимание, что в стихотворении сказано именно это: ни «против», ни «за», но — выше. «Да, но сейчас, когда Россия так истерзана, такие жестокие слова...» — «Разве это первые семьдесят лет за свою историю она истерзана?» — «Это скорее для «Огонька», а наш журнал...» — «Ну, а я не с «Огоньком» и не с вашим журналом, а со Шкап-

ской. Снимайте публикацию». От ярости я даже не заикался. В телефоне крякнули, но не возражали. Случилось чудо: с журналами у меня связей нет, но тут через час позвонили из «Октября» и предложили что-нибудь дать в их журнал. Я слету рассказал о случившемся; в телефоне полминуты помолчали и согласились. В «Октябре» и напечатали.

* * *

Рядом с писательским санаторием «Узкое», в церкви, отремонтированной лишь за счет канадских Трубецких, будто бы до сих пор гниет не разобранная библиотека Гитлера. В связи с этим кто-то рассказывал, что парижская Тургеневская библиотека, аккуратно перевезенная немцами в Киев, попала в Ленинку и около 1972 года ее рассортировали: не-дублеты — в фонд, а дублеты под нож. Почему не в другие библиотеки? Потому что не было в уставе пункта о передаче книг из ВГБИЛ в другие библиотеки. Кстати, там же, в Ленинской библиотеке, есть фонд Germanica, за который Германия готова заплатить валютой, но его не продают: книги в таком непоправимом состоянии, что стыдно показать.

* * *

А, может быть, не надо бояться банальностей? Самое парадоксальное, остроумное и радостное на свете — это что дважды два все-таки четыре, несмотря на то что все это без конца повторяют.



ПРИЛОЖЕНИЕ

СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ АВЕРИНЦЕВ
(некролог)

Сергей Сергеевич Аверинцев был филолог — Филолог с большой буквы, как сказали бы в полуказенном стиле недавних времен. Конечно, он был гораздо больше, чем филолог. На нынешнем языке следовало бы сказать: культуролог. Но это слишком нынешнее слово, и Аверинцев его не любил. Не в последнюю очередь потому, что в нем не было той этимологии, которая есть в слове «Филология». Филология — значит любовь к слову. Из всех русских «логий» это единственная, в которой есть корень «любовь». Это и придает науке-филологии особое измерение — человеческое. О нем Аверинцев писал в статье «Похвала филологии» — когда он в 1968 году получил премию Ленинского комсомола за свою работу о Плутархе и едва ли не в первый раз был приглашен выступить в массовой печати; об этом же он писал и в фундаментальной статье «Филология» для «Литературной энциклопедии».

Любовь — опасный соблазн: когда этимология разрешает человеку что-то любить, он тотчас ищет

в этом права чего-то не любить. Этот соблазн был чужд Аверинцеву: филолог должен любить всякое слово, а не только избранное. Мне дорога его реплика: «Как жаль, что мы не в силах все вместить и все любить». Мало того: когда разрешено любить, то кажется, что разрешено и внушать, навязывать эту любовь своим ближним и дальним. Этого соблазна он тоже избегал: в предисловии к книге «Поэты», к десяти замечательным признаниям в любви к писателям от Вергилия до Честертона, он писал: «Я надеюсь, что читатель не причтет меня к числу заклинателей и гипнотизеров от гуманитарии — хотя бы потому, что у меня нет той нечеловеческой уверенности в себе, которая обличает последних». Это не случайные слова: молодые слушатели, толпами стекавшиеся на его выступления, радовались подпасть именно под такой гипноз. Но сам он совсем не был этому рад. Он говорил: «Кончая лекцию, мне всегда хочется сказать: а может быть, всё совсем наоборот».

Любить — это большая ответственность. У каждого любящего возникает в сознании образ «мой Пушкин»» (и т. п.), но не каждый умеет помнить, что настоящий Пушкин больше и важнее этого «моего». В том же предисловии к «Поэтам» он писал: «Мне хотелось не столько сделать их «моими», сколько самому сделать себя — «их». Не так важно, нравится ли Вергилий нам; важнее, понрави-

лись ли бы мы Вергилию. Причастность культуре требует от нас смирения, а не самоутверждения. Он говорил: «Рассуждать о падении культуры бесполезно, пока мы не научимся видеть истинных врагов культуры в самих себе». Филология — это универсальное знание, вырастающее из текстов, но возвращающееся к ним в смиренной заботе о понимании. Филология — это служба общения культур; но она не притворяется диалогом. Прошлые культуры не имели в виду нас и не разговаривают с нами. Филолог — не собеседник прошлой культуры, а скромный толмач при ней, пересказывающий слова, не к нему и не к нам обращенные.

Склад его характера был закрытый, монологический, даже с кафедры не наставляющий, а подающий пример для самостоятельной мысли. «Мысль не притворяется движущейся, она дает не указание пути, а образец поступи. Хорошо, когда читатель дочитывает книгу с безошибочным ощущением, что теперь он не знает больше, чем не знал раньше». Но добиться этого ощущения у читателей — и особенно у слушателей — ему решительно не удавалось: наоборот, всех переполняло ощущение окрыляющего понимания. Тому были свои причины. С культурами мы знакомимся, как с людьми: сперва видим в них сходство с нами, а потом отличия от нас. Рассказывая об этих культурах, Аверинцев начинал сразу со второй стадии — с высокой планки

знакомства. Поэтому они рисовались необычными, загадочными и пленительными: чудом понятыми. Эту иллюзию чуда переживал каждый, кто слышал его лекции и публичные выступления.

Эти памятные выступления привлекали народ, как при риторах Второй софистики. Он очень хорошо говорил — так, как только и можно при таком ощущении ответственности перед словом. «При советской власти так хорошо говорить уже было диссидентством», — писал младший современник. Я был на первых разрешенных ему лекциях — на историческом факультете, по византийской эстетике. Он ставил очень высокую планку, эти лекции понятны были немногим, но ощущение причастности к большой науке и большой культуре было у всех. Он не радовался такому эффекту, но понимал, что это нужно людям. Он писал: «История литературы — не просто предмет познания, но одновременно шанс дышать «большим временем», вместо того чтобы задыхаться в малом». Вот это ощущение дыхания большим временем передавалось слушателям безошибочно. Им казалось, что это главное. Но для Аверинцева, для филолога, для толмача мировой культуры, это все-таки не было главным.

Слово — это мысль, любовь к слову — это чувство. Соотношению их в слове учит наука риторика — та, о которой Аверинцев писал так много и

настойчиво. У Аверинцева было редчайшее качество, которое знали только близкие собеседники: он точно знал во всякий момент, говорит ли он как человек мыслящий, с доказательствами, или как человек чувствующий, с убеждением. В публичных выступлениях оно терялось. Его аудитория, утомленная позднесоветской догматичностью, пленялась иррациональной одушевленностью и пропускала мимо слуха рациональную строгость. Его глубочайшее уважение к европейскому рационализму, родившемуся из риторики, не находило отклика у читателей и слушателей. Спрос был не на Аристотеля, а на Платона. Аверинцев очень много сделал для русского Платона: он перевел «Тимея». Но в последние годы он говорил: «Меня огорчает нынешняя мода на Платона. Поэтому мне все больше хочется написать апологию Аристотеля. Платон современен, а Аристотель актуален». И писал: «Теория слишком долго была поглощена тем, чтобы объяснить для образованного любителя почитавшееся самым непонятным: архаику и авангард. Похоже, что мы дожили до времен, когда Вергилий и Рафаэль стали непонятнее того и другого, а потому более нуждаются в объяснениях».

Все, что мы знаем, — по крайней мере все, в чем мы можем сами дать себе отчет, который называется «рефлексия» и которого многие, по романтической привычке, так не любят, — все это мы

знаем через слово. Это слово не бесплотно: у него есть грамматика, стилистика, поэтика, риторика. Не зная этой органики слова, мы напрасно будем воображать, что постигаем какой бы то ни было дух. Как широко и высоко ни простирались мысли Аверинцева в этой области духа, связь с словом не терялась никогда. Это не всем казалось нужным. Он считал себя учеником А. Ф. Лосева, и Лосев очень ценил его, но говорил: «Только зачем он занимается такими пустяками, как поэтика?»

«К нему приходили за универсальной духовностью», — было сказано в одной статье. Это так. Но лозунгового слова «духовность» я за многие годы разговоров не слышал от Аверинцева ни разу. В книгах его оно есть, но редко. Потому что Духовность раскрывается нам только через Словесность. И понять слово, несущее духовность, можно только через склонения риторики и спряжения поэтики. Их недостаточно чувствовать: им нужно учиться, а научившись, учить им других. Он говорил мне: «У нас с вами в науке не такие уж непохожие темы: мы все-таки оба говорим о вещах обозримых и показуемых». Выражаться иррационально, пользоваться словом для заклинания и гипноза — это значит употреблять слово не по настоящему назначению. Когда чья-нибудь метафора начинала самоутверждаться, притязая на всеобъясняющий смысл, — например что греческая

культура пластична, а всякая культура диалогична, — он умел унять ее здравым переспросом. Не нужно бояться рефлексии: она не отчуждает, она приближает. Избегать рациональности, избегать рефлексии — значит отдаляться от взаимопонимания: иррационализм опасен. «Нынче в обществе нарастает нелюбовь к двум вещам: к логике и к ближнему своему» — это вещи взаимосвязанные.

«История духа и история форм духа — разные вещи: христианство хотело быть новым в истории духа, но нимало не рвалось быть новым в истории таких его форм, как риторика». Причастность к засловесному духу и к словесным формам духа сосуществовали в нем, не подменяя друг друга. Божье слово тоже имело свою поэтику и риторику. Он не спросил бы, как Карл Краус: «Если в начале было Слово, то на каком языке?», — но понял бы этот вопрос. Вера без слов мертва есть.

Он не отождествлял христианства с православием, и многим это не нравилось. «Он не был духовным конформистом», — с пониманием писал он про Григория Нарекаци. В лучшей статье, которую я о нем читал, было сказано: «В других условиях такой человек, как Аверинцев, мог бы, наверно, возглавить какую-нибудь церковную реформу: в нем присутствует как необходимый для всякой

религии традиционализм, так и полнейшая незашоренность, бескомпромиссная отвага мысли, не говоря уж о знаниях. Но, видно, время Аверинцева для русского православия еще не наступило».

Первая его книга была о традиционном Плутархе, вторая о малоизведанной византийской поэтике, третья о христианском интернационале «от Босфора до Евфрата». Параллельно, как что-то самоThere разумеющееся, раскрывалась Европа, от Юнга, Шпенглера и Хейзинги и до Брентано и Си-Эс Льюиса; и Россия, до Мандельштама и Вячеслава Иванова. Казалось естественным, что во всем этом он был, как дома; мало кто верил, что свой немецкий язык он знал не отроду, а только со студенческих лет. «Сейчас переводят таким слогом, как будто русский язык уже мертвый, и его нужно гальванизировать», — говорил он с обидою о переводах, где стилем считалось употребление «сей» и «коий». Когда за три года до смерти он позволил себе напечатать свои «Стихи духовные», это тоже были стихи филолога: он не изменил своей сути даже входя в тот мир — и в духовное, и в стихи, — где о филологии у нас принято забывать. (Стихи Вячеслава Иванова тоже были стихами филолога.) И последней его работой был перевод и комментарий к синоптическим Евангелиям.

Я говорю о том, какой это был большой ученый. Я не могу говорить о том, какой это был боль-

шой человек: для этого человеческого измерения моя филология не имеет слов. «О чем нельзя сказать, о том следует молчать». Те, кому выпало счастье расти, слушая его выступления и читая его статьи и книги, расскажут о том, как это помогало им выживать в нелучшие годы советской жизни. Я могу лишь сказать, что быть рядом с ним и видеть, как он сам рос и становился самим собой, было, может быть, еще большим счастьем, радостью и жизненным уроком.

Филологов много, Аверинцев был один. Потому что сейчас больше ни у кого между нами нет такого целомудренного ощущения человеческого измерения филологии — связи между человеком и тем, что больше человека: словом и Словом.

2004 г.

СТИХИ К СВЕТОНИЮ

1

Кто без греха, пусть бросит камень,
А кто грешил, тот бросит десять.
Весы проверены веками,
Чужая ноша больше весит.

Сочтитесь, цезари, венцами
В двухвековой своей дороге:
За вас свели концы с концами
И подытожили итоги.

В свои календы, иды, ноны,
Не докучая россиянам,
Мы разочли себе каноны
Еще из лет Веспасиана.

2

История — ни в чем не виноватая,
А небо в Риме сытое и синее,

Там во дворце зарежут императора,
И перед смертью скажет он красивое.

Мы выбежим, поплещемся по площади,
Устроим давку, разметаем лавку,
И станет черным и проклятым прошлое,
А профили отправят в переплавку.

И будет истин — на четыре месяца,
И хлеб и цирк, чтоб все легко и просто.
А там опять начнется околесица
И звякнут патрули на перекрестках.

Грызня вслепую и игра взакрытую
Ломают власть, как ржавую ковригу.
Кого, хрустя костями под копытами,
На старый форум вывезет квадрига?

Отславословив старое и новое,
Дождемся ночи, вспомним время оно
И сложим ленты и венки грошовые
У статуи покойника Нерона.

3

Родство забывший современник,
Читай отца и сына Сенек,
А если римлян не понять,
Давай на зеркало пенять.

Мне снилась осень в третьем Риме,
На камне счищенное имя
И подагрический багрец
Над доцветанием сердец;

В надвратном кружеве — икона,
Где бог разит копьем дракона,
И в палантинской пустоте
Звучат шаги уже не те.

Друзья, не тронутые тленьем!
Давайте веру переменим:
Давайте высчитаем вновь,
Какою кровью мстится кровь.

Одна у нищих оборона –
Кто верит в Марка, кто в Нерона,
Один палач, один калач,
Один и тот же смех и плач.

Благих намерений дорогу
От доброго до злого бога
Другой мостильщик домостит,
Другой могильщик отомстит.

Помолимся, товарищ старый,
На императорские лары:
Над башней — прежняя звезда,
А Рим прекрасен, как всегда.

4

Пришел веселый месяц май,
Над нами правит цезарь Гай,
А мы, любуясь Гаем,
Тиберия ругаем.

На площадях доносы жгут,
А тюрьмы пусты, тюрьмы ждут,
А воздух в Риме свежий,
А люди в Риме те же.

Недавней кровью красен рот
От императорских щедрот:
Попировали — хватит!
Покойники заплатят.

Кто первый умер — грех на том,
А мы последними умрем,
И в Риме не боятся
Послѐдними смеяться.

Красавчик Гай, спеши, спеши,
Четыре года — для души,
А там — другому править,
А нам — другого славить.

5

Давайте раскроем глаза под пятаками,
Давайте с правнуками прямо поговорим.

Это мы расставляли верстовые камни
На ста дорогах, ведущих в Рим.

Палачи и поэты, знающие цену
Красным словам и черным делам,
Это мы сдували кровавую пену
С чаши, которую допивать не нам.

Это мы, умевшие выть по-волчьи,
Ложью ложь четырежды поправ,
Кровью, потом, гноем и желчью
Для вас оплатили правду из правд.

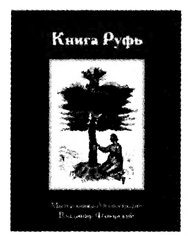
Чужой ли чернее, своей ли кровью —
Не декабрю попрекать июнь.
Не вы и не мы распределяли роли —
Сыграйте вашу, как мы свою.

Счет не сведен. Не судите опрометчиво,
Что мы должны и чего мы не должны.
Мы еще дождемся шести часов вечера
После четвертой пунической войны.

О г л а в л е н и е

Приложение

Серия «КНИЖНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ»











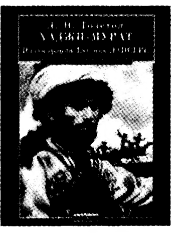


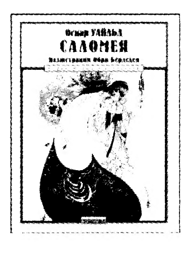




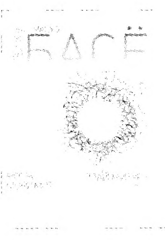
















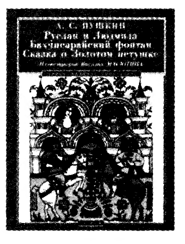












Тел./факс: 8-499-504-63-22
8-903-565-23-90, 8-916-782-27-13
E-mail: fortuna-al@yandex.ru; fortunaal@list.ru
http://fortuna-al.narod.ru

М. Л. ГАСПАРОВ
Филология как нравственность
Статьи, интервью, заметки

Ответственный за выпуск *Л. Дорофеева*
Редактор и составитель *А.Зотова*
Макет и оформление *Э. Дорофеева*

ООО «Фортуна ЭЛ»
Тел./факс: 8-499-504-63-22
8-903-565-23-90, 8-916-782-27-13
E-mail: fortuna-al@yandex.ru; fortunaal@list.ru
http://fortuna-al.narod.ru

Сдано в набор 15.01.2012 г. Подписано в печать 27.03.2012 г. Формат 70×100 1/32. Бумага офсетная. Гарнитура «Таймс Нью Роман». Печать офсетная. Усл. печ. л. 9. Тираж 3000 экз. Заказ № 5752.

Отпечатано в ОАО ордена «Знак Почета»
«Смоленская областная типография им. В. И. Смирнова».
214000, г. Смоленск, проспект им. Ю. Гагарина, 2.

